*(«Русская Речь», 1879, янв. и февр.)*[*[\*1]*](#note_1)

Две тысячи лет с лишком тому назад, вождь Галлов Бренн[[1]](#note1), кладя свой меч на весы, на которых взвешивалась дань, уплачиваемая побежденным Римом, воскликнул: горе побежденным! Сам ли полумифический вождь Галлов произнес эти слова, или только вложил их ему в уста римский историк, изречение это обратилось в общую поговорку, в пословицу, — подобно всем поговоркам и пословицам, выражающую мысль ясную, простую, несомненно истинную и в своей краткости и простоте не требующую никаких комментариев.

Но вот, двадцать три века спустя после знаменитого Галла, нам, русским, приходится воскликнуть диаметрально противоположно горе победителям! Изречение парадоксальное, звучащее нелепо — в роде светлой тьмы или громкого молчания, и которое поэтому едва ли получит такое общее применение, такое общее гражданство, как слова Бренна, но которое тем не менее, в применении к нашей недавно оконченной, славной и победоносной войне, выражает собою факт столь же несомненный, как и древнее общеприменимое восклицание. В самом деле, после одной из самых полных и решительных побед, обративших в ничто всю силу противника, вместо торжества и упоения славы — всеобщее уныние, чувство глубокого унижения, краска стыда на лице, слезы оскорбленной народной чести и поруганного достоинства. Потоки крови, мучения раненых, истязуемых варварами на полях битвы, десятки тысяч погибших от неприятельского оружия, может быть сотни тысяч умерших от болезней, сотни миллионов рублей народного достояния, невероятные подвиги терпения, мужества, отваги войск, военного искусства полководцев, — все это потеряно и принесено в жертву ради того, чтобы большую и, как говорят очевидцы, лучшую часть многострадального болгарского народа, уже было освобожденного, снова предать во власть его вековых мучителей, ради того, чтобы закабалить благородных Черногорцев, Сербов, Босняков, Герцеговинцев игу Австрии, ради того, чтобы утвердить на более прочных основаниях пошатнувшуюся было власть и влияние Англии на берегах Архипелага, Мраморного моря, Босфора и Дарданелл.

Если бы через столетия сохранились о нашем времени известия, столь скудные, как, например, те, которые мы имеем о некоторых периодах Римской Империи, и потомству остались бы лишь акты Сан-Стефанского договора[[2]](#note2) и Берлинского конгресса, по которым остроумным и проницательным историков предстояло бы восстановить ход событий, завершенных этими документами, не должны ли они были бы предположить, что в первое полугодие 1878 года свирепствовала жестокая война, окончившаяся полным поражением России и принудившая ее отказаться от всех успехов, приобретенных ею в войну 1877 года? Но происшедшее на самом деле гораздо хуже такого предположения этих гипотетических историков. Военная неудача бывает часто результатом непредвиденных случайностей. Отступление же перед одною угрозой, и угрозой врагов, к сущности очень мало опасных, как Англия и Австрия, не свидетельствует ли о сознании бессилия государства, все равно, основано ли это сознание на действительном положении вещей, или только на ложном представлении о нем? Последнее, пожалуй, даже хуже первого, ибо указывает не на материальную немощь, которая более или менее исправима, а на расслабление и немощь духовную.

В прошлом году, при начале турецкой войны, многие надеялись, что она поведет к окончательному решению Восточного вопроса. Такой надежды мы не разделяли и вот что говорили по этому поводу (см. выше, стр. 54. 2-го авг. 1877 г.); «Настоящая война, сколько бы она ни была успешна, разрешить Восточного вопроса не может. Разрешит это целый период борьбы не против Турции только... Настоящая война есть только первый шаг к этому решению... и все дело в том, чтобы шаг был сделан правильный, действительно поступательный, облегчающий в будущем и приближающий решение этой всемирно-исторической задачи, которой дано название Восточного вопроса». Для этого нам предстояло достигнуть войной: разрешения всех преград, как нравственных, так и материальных, разделяющих северо-восточное славянство, т.е. Россию, — от славянства юго-восточного и от всех православных народов, населяющих Балканский полуостров.

И все преграды были разрушены штыками русских солдат, — и снова восстановлены, а некоторые даже усилены и вновь созданы перьями русских дипломатов. Отрицательные результаты, достигнутые русскою политикой, многим превзошли положительные, достигнутые русским военным искусством и русскою военною доблестью! Странно и нелепо звучащий парадокс: горе победителям! сумела она обратить в грустный, но несомненный факт.

О восстановлении и усилении преград материальных, укреплении Балканских горных проходов, опек Англии над Турцией и проч. — мы не будем говорить. Это всем слишком хорошо известно. Но считаем нужным сказать несколько слов о восстановлении, усилении и возникновении новых преград нравственных. Станем для этого на место болгар, сербов, черногорцев, герцеговинцев, босняков, и постараемся уяснить себе те чувства и мысли, которые должны у них возникнуть о России и об отношении их к ней. «Россия принесла для нас действительно огромные жертвы», — должны сказать они себе, — «и сокрушила Турцию. Но как только вместо Турции вступили на сцену настоящие враги славянства, в руках которых Турция была только орудием нашего угнетения, — то есть Европа и преимущественно Англия и Австрия, — Россия отступила, потому ли, что считает себя бессильною для борьбы с врагом 6олее могучим, чем Турция, или потому, что предпочитает так называемые европейские интересы нашей свободе, нашей национальной самобытности. Но почему же», — должны они рассуждать далее, — «так враждебна к нам Европа? Не потому ли, что мы единоплеменны и единоверны с Россией? Европа страшится увеличения могущества и силы России нашею силою, правда, только еще зарождающеюся, но со временем могущею, в союзе с Россиею, сделаться весьма значительною, в особенности, при том географическом положении, которое мы занимаем. Но в нашем ли положении мечтать о политической силе, о славном историческом будущем в союзе с Россиею, когда, с одной стороны, она — могучая, сильная (такою, по крайней мере, мы до сих пор ее считали) — сама от нас отрекается, а с другой — когда еще самые элементарные человеческие права за нами не обеспечены? При таких обстоятельствах, не разумнее ли нам примкнуть к Англии и к Австрии, которые в ближайшем будущем будут господствовать над нами, первая — под маской Турции в южной Болгарии, названной Восточной Румынией, во Фракии и Македонии, вторая — непосредственно в западной части полуострова. Не приглашает ли нас к этому сама Россия, подавая сербам и черногорцам совет — сойтись и сговориться с Австрией? Небытьженам plus russes que les Russes eux mkcmes»[[3]](#note3). Мудрено ли после этого, что высказанные в ответ нашей дипломатии на критику Сан-Стефанского договора в известной записке лорда Салисбюри предсказания о неблагодарности Болгар, имеющей возникнуть по примеру неблагодарности Румын, действительно оправдаются? Благодеяния, оказанные на половину, обманывающие надежды, возбужденные самыми благодетелями и начавшие даже осуществляться, никогда не рождают благодарности. Это весьма известная психологическая истина. Подобного рода мысли, столь естественные и благоразумные со стороны славян Балканского полуострова, потому только — мы на это твердо надеемся — окажутся ложными, что ненависть и злоба — слепы. В южной Болгарии, турки, подстрекаемые и научаемые англичанами, будут потворствовать как турецкому насилию, так и честолюбивым притязаниям эллинизма, и тем усилят ее стремление к соединению с северными братьями. В западной части Балканского полуострова, австрийская политика, руководимая мадьярскими стремлениями, сумеет сделаться столь же ненавистной для своих новых вассалов, сколько она ненавистна для непосредственных славянских подданных Австрии. Какая странная, жестокая надежда: интересы славянства основаны на бедствии несчастных славян! И однако, другой надежды нет. Такова жестокая ирония судьбы.

Чтобы, впрочем, ни сказало будущее, каким бы путем ни исправило оно сделанных теперь ошибок — остается несомненным, что между Россией и славянством воздвигнуты новые нравственные преграды нашею победоносною войною, предпринятою для освобождения славянства.

Со стороны Румынии, материальная преграда, разделяющая нас от будущего Болгарского княжества, не уничтожена, потому что Дунайская дельта присоединяется к Румынии, которая даже увеличивается тем, что Добруджа передается в ее же владение. В сердцах же румынского народа, — точнее, впрочем, будет сказать: в заправляющей им интеллигенции, — воздвигнута могущественная нравственная преграда возвращением, отошедшей от России, части Бессарабии. Мы уже прежде высказали наше мнение об этом предмете. Настойчивость дипломатов на этом ничтожном пункте, когда они сочли возможным поступиться самыми жизненными, существенными условиями Сан-Стефанского договора, можем мы себе объяснить только желанием добиться полной отмены Парижского трактата, поскольку он непосредственно касался России. Желание вполне законное и справедливое, требуемое честью и достоинством России, но только при том условии, чтобы трактат этот не был заменен своим близнецом по внутреннему смыслу и духу, актом Берлинского конгресса, и чтобы последняя лесть не была горше первой Оскорбительная сущность Парижского трактата заключалась не в той или другой статье его, более или менее неблагоприятной России, а в том, что он связывал руки России, ставил ее под оскорбительный контроль, под опеку Европы, лишал свободы действий на Востоке Образ действий Турции и последовавшая за тем война разорвали надетые на нас путы. Не налагаем ли мы их на себя вновь Берлинским конгрессом? Из-за чего после этого так хлопотать об отошедшем от нас, двадцать два года тому назад, кусочке земли! Если бы его возвращение не было сопряжено с значительным для нас вредом, то, можно смело сказать, конгресс никогда бы на него не согласился Вред этот состоит в том, что наш естественный и необходимый для нас союзник отстраняется от нас и будет всегда готов принять сторону наших врагов. Здесь повторяется та же история, которая происходила на Венском конгрессе с Польшей. Присоединению ее к России, в виде самостоятельного царства, противились до тех пор, пока прусские уполномоченные, ближе знакомые с русско-польским делом и с сущностью тогдашних русских политических воззрений, не разъяснили прочим членам конгресса, что присоединение Царства Польского к России с сохранением его самобытности есть величайший для России вред, — что события и не замедлили оправдать. Относительно Бессарабии дело было понято скорее, и, как кажется, не потребовало ни с чьей стороны особых разъяснений.

Если, таким образом, отношения славян и румын к России, возникшие и имеющие еще возникнуть, как последствия веденной нами освободительной войны, представляются в неутешительном виде, то в еще худшем свете являются, по-видимому, наши отношения к грекам, которые сделались прямо нам враждебны и открыто было перешли на сторону коренного нашего врага — Англии, до готовности вести вместе с нею против нас войну[[\*2]](#note_2). Но сделанные нами в этом отношении ошибки, по счастью, исправлены английскою политикою; выраженная нами надежда, что ненависть и злоба не допустят развиться всем вредным для нас последствиям, начала уже осуществляться.

Но так или иначе, а печальное дело совершилось. Надежды России и Славянства еще раз обмануты по ее собственной вине. Дело теперь, на некоторое время по крайней мере, кажется непоправимым. Вместо ожидавшегося облегчения, задача Восточного вопроса еще более затруднилась. Мы находимся в положении Тарквиния перед Кумской Сивиллой. Она подносила ему девять таинственных книг, заключавших в себе предсказания о судьбе Рима, и обладание которыми необходимо для совершения этих судеб. Но цена, за них просимая, казалась слишком высокою. Сивилла сожгла три книги и потом еще три, требуя за остальные все ту же цену. Так и Россия от времени до времени привязывается к решению рокового Восточного вопроса, заключающего в себе узел судеб ее, — но и она, подобно Тарквинию, отступает перед, кажущеюся ей, чрезмерностью требуемой от нее цены. Цена же все возрастает и возрастает. Но, наконец, все-таки придется ее заплатить, заплатить под страхом собирания и в огне вметания, как собирается и в огонь вметается в день исторического суда все, что не исполнило своего назначения. День же этот приходит, как тать в ночи, как пришел спор о Вифлеемских ключах между греческими и латинскими монахами, как пришло ничтожное, ни кем не замеченное при своем появлении, герцеговинское восстание. Следовательно, нужно бодрствовать и быть готовыми, ибо не ведаем ни дня ни часа, когда вновь прозвучит призыв истории. А чтобы быть готовыми, нужно понять причины, почему мы на этот раз оказались столь неготовыми, что благоприятное решение выпало из наших рук, уже было крепко схвативших его. Тут виноваты уже не плохие ружья, не плутни поставщиков, не дурное устройство интендантства и санитарной части. Несмотря на все это, наши геройские войска блистательно исполнили свое дело, — не за нами оказалась неустойка, обратившая торжество победы в горечь поражения.

Ближайшие причины нашей неудачи — у всех перед глазами, более или менее всем известны и ясны. Поэтому, мы ограничимся только группированием их и представлением в систематическом порядке. Причины эти подводятся под следующие четыре категории: 1) недостаточность и неудовлетворительность самих условий Сан-Стефанского договора и в особенности того перемирия, которое было заключено под стенами Константинополя. 2) Неточность и неопределенность тех условий, которые были предписаны Туркам, так что исполнение их ничем не было обеспечено и предоставлялось, собственно говоря, полному произволу Турок. 3) Необеспеченность, неограждение выполнения этих условий от постороннего враждебного вмешательства, и, наконец, едва ли не самая важная причина 4) формулирование этих условий в виде прелиминарного договора.

Недостаточность и неудовлетворительность перемирия и самого мира была двоякая: во-первых, законные и справедливые желания покровительствуемых и освобождаемых славянских друзей и союзников наших оставались неудовлетворенными, в угоду незаконных и нелепых притязаний Австрии, а частью и Греции. Болгария лишалась Солуни и вообще значительной части болгарской Македонии, Сербия — Пристины и большей части Старой Сербии, Черногория Скутари, Требинье, и вообще должных границ на севере, юге и востоке. Оба последние княжества не должны были соприкасаться, в виду дикого австрийского требования, чтобы оставлен был промежуток для проведения железной дороги к Эгейскому морю, как будто железные дороги возможно проводить только по турецкой земле. Во-вторых, Россия не получала должного вознаграждения за свои жертвы. Таким вознаграждением можно бы считать только уступку России турецкого броненосного флота и присоединение Эрзерума, ибо этим достигалось бы утверждение полного и неоспоримого влияния нашего на Турцию.

Уступка России броненосного флота, доставляя ей разом сильное морское положение, прежде чем Англия успела бы собрать достаточную силу, давала средство занять проливы не только с европейской стороны, но также с азиатской и с моря. Присоединение же Эрзерума выказало бы свое действие постепенно, мало-помалу В самом деле, из наших малоазиатских приобретений, Батум, как хороший порт, доставляет только торговые выгоды, Каре лишь оборонительное значение, обеспечивающее Закавказский край Напротив того, Эрзерум занимает центральное господствующее положение над сообщениями Анатолии, Курдистана, Месопотамии и Сирии, составляющих основу турецкого могущества. Владея им, мы могли бы спокойно смотреть на все английские затеи, как например обеспечение за собою Эвфратской долины и проведение стратегических железных дорог от берегов Босфора к Персидскому заливу. Из Эрзерума наше давление на Турцию могло бы быть столь сильно, что его не могло бы перевесить враждебное нам влияние в самом Константинополе.

Если вникнуть в условия Сан-Стефанского договора, то нетрудно заметить, что руководящею мыслью его был раздел Турции, — первая наброска этого раздела, имевшая в виду не столько раздел ее территории, сколько раздел влияний. Берега Эгейского и Мраморного морей, проливы и окрестности Константинополя предоставлялись влиянию Англии (как это видно из уступки Салоник и незанятия Галлиполи) под сильным, конечно, контролем России, через посредство Забалканской Болгарии. Запад полуострова предоставлялся Австрии, как то видно не только из предоставленных ей Боснии и Герцеговины, но и из промежутка, оставленного между Сербией и Черногорией, также из того, что Пристина и Митровица не отдавались Сербии. Русскому влиянию должна была подлежать восточная половина полуострова — вассальная Болгария Этим надеялись удовлетворить желаниям наших противников. Но Англии и Австрии показалась доля, им предоставленная, недостаточною; первой в особенности не нравился сильный контроль России. Берлинский конгресс, собственно говоря, стоит потом на той же точке зрения; он только умаляет до ничтожества долю влияния России, а недоброжелательство Румынии, нами же вызванное, еще более содействует этому умалению, почему европейские державы и отнеслись так благосклонно к возвращению России части Бессарабии.

Но раздел Турции составляет комбинацию, которой России следовало бы наиболее противиться, так как он совершенно противоречит интересам ее и Славянства Существенная причина, которая могла и должна была удержать Россию от окончательного завладения Константинополем и проливами, заключалась именно в том, чтобы не подать сигнала к этому разделу, но раздел без Константинополя и проливов, конечно, еще гораздо хуже. И справедливость, и выгоды России требовали, чтобы Болгары, Сербы, Черногорцы были вполне самостоятельны и со временем, вместе с Греками, сделались полноправными наследниками тех земель, на которых они были порабощены нашествием дикой турецкой орды; чтобы все они добровольно подчинялись естественному влиянию одной только России, — влиянию, основанному на единоплеменности, единоверии, на предшествовавшем ходе истории, на жертвах, принесенных Россиею для их освобождения, и на взаимных здраво понятых выгодах.

Раздел Турции, по отношению к России, совсем не то, чем был раздел Польши. Этим последним Россия получала почти все свое достояние (за исключением лишь восточной Галиции). Остававшаяся за тем часть составляла враждебный России элемент, который нейтрализовался разделом между Пруссией и Австрией. Такая комбинация была даже выгоднее последующего присоединения Царства Польского к России. В Турции, напротив того, Россия, с одной стороны, не имеет своего исконного достояния, на которое могла бы иметь законное притязание, но взамен того имеет дружественные народности, самобытности и благоденствию которых она должна содействовать; с другой же стороны, враждебный России остаток, при достижении первого условия, должен бы был сам собою подчиниться ее исключительному влиянию. Это безраздельное влияние имело бы ту важность, что предоставляло бы России свободный вход и выход в Черное и из Черного моря.

Неопределенностью и неточностью условий перемирия, не назначавшего срока, и при том возможно кратчайшего — не свыше двух, много трех недель — для сдачи крепостей в Болгарии и Малой Азии и дозволившего гарнизонам их свободно возвратиться в Турцию, — мы сами увеличили силу ее сопротивления и дали Англии и Австрии немаловажную точку опоры в их действиях, направленных против нас. Кроме того, этим мы дали Турции возможность, так сказать, дважды продавать нам одну и ту же вещь. Очищение крепостей было ценою, за которую ей был дарован мир, избавлявший ее от занятия столицы; и затем Турция стала требовать новых льгот, например, удаление русских войск на известное расстояние от Константинополя, за того же самое очищение крепостей.

Но все эти ошибки и упущения теряют свое значение перед двумя капитальными, по моему мнению, ошибками, к несколько подробнейшему рассмотрению которых я теперь и приступлю. Я разумею упущение занятия Галлипольского перешейка и Босфора — с согласия ли Турции, как одно из условий перемирия, или и без оного, силою, — и заключение прелиминарного мирного договора. Оба эти факта, в их совокупности и взаимодействии, составили всю силу наших врагов и настоящую причину всех последовавших наших неудач. Говоря о важности сделанного нами упущения незанятием своевременно проливов, я повторяю только всем известное. Но при этом я желаю обратить внимание на то, что и эта коренная ошибка приобрела всю свою пагубную силу только от заключения прелиминарного мира, и, наоборот, что заключение прелимираного мира могло оказать все свое вредное влияние только при незавладении проливами.

Ход событий, обративший Россию из грозной решительницы участи Оттоманской империи, из державы, державшей в своих руках судьбы Востока, обаяние которой, казалось, должно было утвердиться не только на берегах Босфора, но и на берегах Инда, Ганга и Ирравади, — в скромную участницу Берлинского конгресса, принужденную довольствоваться теми крохами, которые соблаговолят уделить ей Англия и Австрия от роскошной трапезы, ее же руками приготовленной, — по-видимому, свидетельствует о грозной силе Англии. Ей стоило только проснуться и развернуть свой флаг, чтобы спугнуть двуглавого орла, заставить его бросить ту добычу, которую он уже держал в своих когтях. Между тем, в сущности, сила Англии есть одно напускное марево, фантасмагория, нечто вроде намалеванных драконов, которыми китайцы пугают или пугали своих врагов, призрак, основанный на одном предрассудке, на привычке, перешедшей из тех времен, когда европейские армии считались десятками тысяч, и английский вспомогательный корпус, всегда отлично снаряженный, мог оказывать довольно решительное влияние на ход кампаний. В особенности по отношению к кон-тинентальнейшему из всех государств, России, сила Англии почти совершенно равняется нулю. Но как всякому нулю, так и силе Англии, можно придать огромное значение, приставив к нему слева одну или несколько единиц. Эту приставку мы именно и сделали. Вся сила Англии, давшая ей в настоящем случае такое значение, есть вполне наше создание: мы вызвали из небытия грозный призрак, облекли его плотью, дали ему точку опоры, вложили ему в руки рычаг, которым он поднял и сковырнул нас с места, занятого нами с таких трудом, с такими жертвами. Представим себе, для уяснения дела, простейший случай: войну между Россией и Англией, один на один, при честном соблюдении прочими державами, в том числе и Турцией, нейтралитета. Действия Англии ограничились бы полугодовою прогулкой по водам Балтийского и Белого морей, совершенно для нас безвредною, как показал опыт войны с 1854 по 1856 год. Даже единственное, сколько-нибудь действительное в прежние времена, оружие Англии — блокада портов — потеряло почти все свое значение с развитием железных дорог. Россия потерпела бы несколько от возвышения цен на предметы ее вывоза, вследствие удлинения сухопутной перевозки; но главный покупщик их — Англия — потеряла бы почти столько же от этого вздорожания. В барышах осталась бы одна Пруссия. Вывоз из Черного моря оставался бы при этом свободным, так как блокировать нейтральный Дарданеллский пролив Англия не имела бы права. В наших же руках оставалось бы крейсерство, которое принесло бы Англии в несколько раз более вреда, чем нам ее блокада. Но формалистическая Англия не страдает, как известно, излишнею привязанностью к легальности в делах внешней политики, и, без сомнения, нашла бы случай уговорить Турцию отказаться от своего нейтралитета, по крайней мере, настолько, чтобы представиться не имеющей силы заградить проливы для английского флота. Тогда к средствам Англии прибавилась бы еще блокада Черноморских портов, то есть, в этом последнем отношении, Россия была бы поставлена в то же положение, как и в прошлом году, во время войны с Турцией. О бомбардировавши прибрежных городов, как в Балтийском, так и в Черном море, я не говорю. При силе сухопутной артиллерии и при торпедах, угроза эта потеряла почти всякое значение. Допустим, что, дабы не усложнить своего положения, мы стали бы смотреть сквозь пальцы на это нарушение турецкого нейтралитета, как смотрели в прошлом году на действия нейтрализованного Египта. Все жертвы кровью и деньгами, которые мы несли бы в войне с Турцией, оставались бы у нас в экономии. Следовательно, война с Англией один на один, хотя бы и при нарушении Турцией нейтралитета — пропуском английского флота через проливы, — для России гораздо легче, чем даже война с Турцией. Без значительного ущерба мы могли бы выносить ее несколько лет. В резерве оставалась бы у нас угроза выхода в Индию, один приступ к исполнению которого, вероятно, уже заставил бы Англию смириться, в особенности при том вроде, который наносился бы ей нашими крейсерами. Вот итог, к которому приводится сила Англии, по отношению к России, если смотреть ей без предрассудков прямо в глаза. Многим ли он разнится от нуля?

Но перейдем от предположения единоборства к той действительности, которая существовала в конце января нынешнего года. Занятием Галлиполи и Босфора, Черное море гораздо лучше обеспечивалось от вторжения английского флота, чем при нашем гипотетическом предположении о нейтралитете Турции. Англии оставалась еще возможность высадки ее британских войск и привезенных на Мальту сипаев. Но высадки — где? Не иначе, как на берегах Эгейского моря, в почтенном расстоянии от расположения главных русских сил. Там могли бы они занять твердую позицию и укрепиться, пожалуй, если бы позволила местность, так же сильно как и в Гибралтаре. Ну, пусть бы себе и укрепились. Имея в своих руках Дарданеллы и Босфор, мы могли бы спокойно их пересиживать в наших укрепленных позициях. Чтобы побудить нас удалиться из наших несравненно важнейших позиций, англичане охотно согласились бы оставить свою. Мы господствовали бы над положением, значение же Англии было бы совершенно ничтожно, ничтожнее, чем в только что рассмотренном нами случае единоборства. В такое положение поставила себя Англия рядом самообольщений, как оказалось, ничем не оправдываемых. В начале войны она льстила себя надеждою, что Турция, и без ее помощи, — по крайней мере, явной, — устоит против России, которая будет этим поставлена в жалкое и смешное положение. Наши неудачи под Плевной еще более укрепили ее в этом мнении и тем усыпили ее бдительность, лишили привычной прозорливости, и этим были для нас, собственно говоря, благоприятны. Когда, 28-го ноября, Плевна пала, все думали, что наступившая глухая осень, холода и ненастье заставят русскую армию отложить свои дальнейшие действия до весны, а к тому времени, если бы не удались переговоры, можно было успеть и приготовиться на всякие случайности. Когда эти расчеты были обмануты изумительным, беспримерным зимним переходом через Балканы (увы! оставшимся бесполезным), Англия была захвачена врасплох. Мы могли сделать все, что хотели, но на беду хотели не того, что было нужно. Лорд Дерби[[4]](#note4), правильно оценивший действительную силу противников, не полагался на силы Англии, и еще менее на силы Австрии, и потому боялся войны, боялся до того, что, когда дерзкие шаги его премьера, казалось, неминуемо к ней вели, то он не захотел разделить ответственности в политике, которая обещала быть постыдною и гибелью для Англии. Уступал ли ему в правильной оценке реальных политических сил европейских государств лорд Биконсфильд[[5]](#note5) — этого я не знаю; но зато последний в совершенстве разгадал характер дипломатии и направление политики России, и потому был твердо уверен, что войны не будет, что бы он ни делал, как бы дерзко ни поступал. Дерби, как государственный человек, выводил свои заключения из общих данных, из общеизвестных элементов народной и государственной силы; напротив того, Биконсфильд, как бывший романист, основывал свою политику на психологических комбинациях, на разгаданном им характере противников, с которыми имел дело. Что подало ему ключ к этой разгадке — глубокое ли изучение новейшей истории, правильная ли оценка веденных переговоров и вообще образа действий русской дипломатии с самого начала восточных замешательств, или какие-либо частности более интимного характера, ему только известные, им только понятые, — как бы то ни было, соображения его оказались, к несчастью, верными. Как бы в оправдание их, мы начали приставлять свои единички к нулю. Первою единичкою было оставление свободным входа в Мраморное море, с обещанием не занимать пролива, если англичане сами не сделают высадки на Галлипольском полуострове. Босфор также остался незанятым. Но всем этим положение Англии еще не очень усиливалось. Справиться с ним еще было можно. Подвести десант в Мраморное море, проникнуть флотом в Черное — англичане бы не осмелились. Обещание, как само собою разумеется, оставалось бы действительным только до начала враждебных действий, каковым, при всем желании смотреть сквозь пальцы, нельзя же бы было не признать прорыва в Черное море, или высадки на берегах Мраморного, и, следовательно, двери за ними захлопнулись бы. Самые элементарные правила, как сухопутной, так и морской стратегии, не допустят ни одного военачальника прорваться через дефилей, оставив последний под угрозой немедленного занятия неприятелем. Про силы Турции — я ничего не говорю: в конце января их не существовало, они были разгромлены. Но тут-то и приставили мы вторую единицу к нулю, допуская заключением прелиминарного мира, создание вновь этой силы, и тем же промахом, если не создавали, то придавали пагубное для нас значение силам третьего отъявленного нашего врага — Австрии.

Когда турецкие послы прибыли в нашу главную квартиру молить о даровании им мира, полагаясь единственно на наше великодушие, ибо другой помощи, ни от людей, ни от пророка, не предвиделось, нам предстояло, — так по крайней мере казалось, — или подписать окончательный мир, если бы мы хотели сами решить все дело, — или же ограничиться заключением продолжительного военного перемирия, ежели желали подвергнуть условия мира обсуждению Европы. Но было избрано нечто среднее — мир прелиминарный, нововведение по меньшей мере столь же неудачное в дипломатии, как поповки в морском строительном искусстве; прелиминарный мир соединял в себе все невыгодные стороны окончательного мира и военного перемирия, без заключающихся в них выгод.

Последствия заключения тогда же окончательного мира нам собственно рассматривать нечего. Уже то обстоятельство, что сочтено было необходимым заключить только прелиминарный договор, доказывает, что мы ясно осознавали, что условия, которыми мы думали закончить нашу борьбу с Турцией, не встретят сочувствия Европы и, преимущественно, государств, считавших себя наиболее затронутыми — Англии и Австрии, и что они всеми мерами будут стараться препятствовать их осуществлению. Следовательно, если бы, несмотря на эту нашу уверенность, мы все-таки решились придать условиям Сан-Стефанского договора санкцию твердого окончательного трактата, нам необходимо было обеспечить себя от враждебного постороннего вмешательства и для этого занять Дарданеллы и Босфор. Видя всякую помощь извне отрезанною, Турция продолжала бы находиться в том же настроении духа, в котором находилась при заключении перемирия. Видя единственное спасение в великодушии России, опасаясь еще худших условий в случае возобновления борьбы, она и не подумала бы собирать свои силы и истощать для этой безнадежной борьбы. С другой стороны, и Англия, видя, что дело кончено, что изменить его можно только новой войной, что все шансы в этой войне против нее, что в силах самой Турции она никакой помощи найти не может, а сама также помочь ей через непреодолимую преграду не в состоянии, — помирилась бы с неизбежным.

И так, рассмотрим другой случай. Россия желала заручиться согласием Европы на результаты, которые хотела извлечь из войны, и потому не хотела заключить окончательного мира. В таком случае, следовало бы ограничиться военным перемирием. При заключении военных перемирий преобладает стратегическая точка зрения и, главным образом, имеется в виду (со стороны предписывающего условия победителя), чтобы, в случае возобновления военных действий, противник не оказался в положении более выгодном, чем в момент их прекращения; если же перемирие завершится миром, то чтобы влияние победы сохранило всю свою силу вплоть до окончательного умиротворения. Так, в осажденную крепость допускают подвоз провианта только в количестве необходимом для пропитания гарнизона и жителей, а не для возобновления запасов. Поврежденные верки должны оставаться неисправленными, новые не могут возводиться. Следовательно, при военном перемирии, ни со стороны Галлиполи, ни со стороны Босфора, ни со стороны Константинополя, не могло и не должно было быть выкопано ни одного стрелкового ровика, не могло быть возведено ни одного редута, не могло даже быть прибавлено ни одного нового батальона. Пусть при таком положении дел Дарданеллы и даже Босфор оставались бы незанятыми; пусть те, не помню хорошенько, шесть или восемь английских броненосцев вошли в Мраморное море, даже получив наше обещание не занимать позади их пролива, но под единственным условием, что англичане не сделают высадки и, что само собою разумеется, не начнут иным способом военных действий — положение России все бы оставалось господствующим. Могла ли Англия на что-нибудь решиться, зная, что, при малейшем ее движении, двери проливов, незащищенных турками, захлопнутся за ее флотом? Допустим, наконец, что, употребив какую-либо уловку, англичане успели бы предупредить нас и занять Галлипольский перешеек. Если бы даже нам не удалось их из него выбить, все же надо помнить, что сухопутные силы Англии могут иметь только значение вспомогательного корпуса, а за неимением кому помогать, при отсутствии турецких сил, были бы осуждены на ничтожество, и что таким образом Босфор, а, следовательно, и сообщение по Черному морю продолжало бы оставаться в нашем распоряжении, а это парализовало бы стратегическое положение Австрии, которая, вместо того, чтобы угрожать нашему пути сообщения, сделавшемуся от нее независимым, сама была бы почти со всех сторон окружена нами и нашими союзниками.

Заключение прелиминарного мира уничтожило все эти выгоды, потому что после него Турция вступала во все права, принадлежащие независимому государству. На все наши представления, она могла утверждать, что возводимые ею укрепления, собираемые и сосредоточиваемые войска — имеют единственно целью защиту ее нейтралитета, или даже подготовку для союзного с нами действия. Мы могли, конечно, тому не верить, но лишились уже всякого легального повода противодействовать этому и, таким образом, результаты победы постепенно таили и исчезали на наших глазах и на глазах наших противников.

Это различие между военным перемирием и мирным договором имело особенную важность именно для нас, привыкших столь строго соблюдать легальность в международных отношениях. При начале польского восстания 1863 года, в «Journal de S.-Petersbourg»[[6]](#note6), слывущем и в России и в Европе официозным органом нашего министерства иностранных дел, была помещена фраза, наделавшая в свое время много шума: «La lugalitft nous tue»[[7]](#note7). Упрек этот едва ли справедлив, если сожаление это относить (как это делал французско-русский журнал) к соблюдению излишней будто бы законности во внутренних делах, но совершенно основателен в применении к действиям нашей внешней политики. В деле легальности мы составляем, кажется мне, диаметральную противоположность с Англией. Там легальность, как известно, доводится до смешной крайности в отношениях государственной власти и закона к своим подданным. Там, например, адвокат действительно спасает двоеженца от наказания, советуя ему взять как можно скорее третью жену, потому что закон, крайне строгий к двоеженству, вовсе не предвидел случая троеженства. Но во внешних делах, Англия, когда это ей оказывается нужным или выгодным, не задумывается бомбардировать столицу государства, с которым не находится в войне, или провести свой флот через пролив, вопреки тому самому трактату, который она защищает.[[8]](#note8) Россия, не простирая слишком далеко своей легальности во внутренних дел ах, — в отношениях внешних видит в каждой букве связывающего ее трактата препятствие, через которое не решается переступить, хотя бы дело шло о существеннейших ее интересах. Нисколько не осуждая этого и даже не выражая своего мнения о преимуществах той или другой крайности, я желаю только выставить на вид, что, при столь строгом соблюдении легальности в международных отношениях, России более чем другим следует быть осторожной в наложении на себя политических стеснений и обязательств. Так, в случае, подобном нами разбираемому, можно смело утверждать, что Англия или Бисмарковская Пруссия, даже заключив мирный договор, но заметив последствия, к которым он ведет не задумывались бы его нарушить, чтобы вывести себя из крайне затруднительного положения.

Военное перемирие, вместо прелиминарного мира, не только упрочивало бы наше господствующее стратегическое положение, но сглаживало бы путь и для дипломатии. Нашим противникам нельзя было бы тогда требовать, как предварительного условия конгресса (как будто, конгресс этот был для нас какою-нибудь милостью), чтобы все пункты договора были представлены ему на обсуждение, так как самих условий этих тогда бы еще не существовало. Мы явились бы на конгресс не сформулированными уже условиями, подлежащими, с нашего же согласия, его решающей критике, а с такими, например, словами на устах: «враг наш не существует. Мы в состоянии не допустить до него внешней помощи, откуда бы она ни происходила, и потому бесспорно господствуем над положением; но не хотим злоупотреблять его выгодами и ограничиваемся: с одной стороны, безусловно необходимым для осуществления той цели, с которою предприняли войну, то есть, для освобождения христианских народов Балканского полуострова; а с другой — самым умеренным вознаграждением, на которое, кроме нас, ведших войну, конечно, никто не имеет ни малейшего права». Если бы, оградив себя со всех сторон, мы пожелали сделать несколько несущественных уступок самолюбию Англии и притязаниям Австрии, то они были бы приняты с благодарностью, ибо «всякое даяние благо и всяк дар совершен». Конгресса, которого добивались мы, делая невообразимые предварительные уступки для его осуществления, — добивались бы тогда наши противники, чтобы избавить себя и Турцию от висящего над ними Дамоклова меча, от непрестанно угрожающего занятия Дарданелл, Босфора и Константинополя, ничем и никем незащищенных. Всякое окончательное решение мало-мальски умеренное, не передающее нам полной непосредственной власти над проливами, было бы принято с благодарностью и радостью, как избавление от давящего кошмара, от страшной и неотвратимой опасности. Вместо июня конгресс собрался бы в марте или в апреле. Победа наша не отошла бы, ко времени открытия этого высокого собрания в область прошедшего, не обратилась бы в исключительное достояние истории, а оказывалась бы еще живым фактором, направляющим ход событий. И на конгрессе стояли бы мы в грозном положении победителей, а не людей попавшихся в западню.

В таком виде находились бы наши дела, если бы мы соблюли только в отдельности любую из главных предосторожностей, обеспечивавших завоеванное нами положение. Конечно, дела много бы еще улучшились, если бы не только были приняты обе эти меры в совокупности, но к ним присоединились бы еще сдача турецких крепостей в краткий определенный срок и уступка Турцией всего или большей части ее броненосного флота.

Но мы не заняли ни Галлипольского полуострова, ни Босфорского берега, а с Турками заключили прелиминарный мирный договор, то есть, договор, между строками которого самым четким шрифтом было, написано: «напрягайте силы ваши все, недовольные миром, турки, англичане, австрийцы, и все существенное, что вам в нем не нравится, будет отменено и изменено в вашу пользу». Следуя подразумеваемому совету, турки собрали полутораста или двухсоттысячную армию, частью из нами же выпущенных гарнизонов и возвели укрепления наподобие плевнинских у входа к Дарданеллам, вдоль берегов Босфора, в окрестностях Константинополя. Англия приобрела значение даже как сухопутная военная держава, ибо могла с быстротою пара бросить свои сорок или пятьдесят тысяч войск на самый опасный для нас пункт. Ничтожный англо-сипайский корпус получил действительную важность, как всегда и всюду готовая помощь и без того значительным турецким силам. Черное море перешло в распоряжение Англии, и этим возвращены Австрии все, утраченные было, выгоды ее стратегического положения. Турецкие крепости у нас в тылу или посреди нашего расположения затруднили нас еще более, и наше положение из господствующего стало критическим. Мы очутились в западне. Геройские усилия войск, отстоявших Шипку, перешедших зимою Балканы, могли, конечно, вывести со славой и из такого положения; но перед подобными подвигами можно только благоговеть, а не основывать на них политические расчеты.

Неужели так трудно было все это предвидеть? Еще в то время, когда войска наши шли из Адрианополя на Константинополь и, по скудным газетным известиям, направление многих значительных отрядов оставалось неизвестным, со всех сторон слышались догадки, что, свернув с пути на столицу, они, вероятно, быстро продвигаются к Галлиполи. Так казалось тогда движение это естественным и необходимым. Но что говорить о проницательности и предвидении! Разве не был нам во всеуслышание, еще в то время, преподан совет, не со стороны газетных политиков и стратегов, на которых присяжные дипломаты имеют, положим, право смотреть свысока, а авторитетным голосом всеми признанного, первого политических дел мастера в Европе? Не произнес ли князь Бисмарк, с кафедры германского рейхстага, своей нагорной проповеди о политическом блаженстве: «Beati possidentes»[[9]](#note9), — сказал он. Кто же, или что же заставило нас пренебречь этим советом, заставило добровольно отказаться от обладания и через это лишиться политического блаженства?

Недовольство Германией, как за действия ее на конгрессе, так и во время предшествовавших ему переговоров, довольно распространено в нашем обществе. И я также писал, что за чистое золото наших, столько раз оказанных, услуг — Пруссия, или, что то же самое, Германия, платит нам ассигнациями весьма низкого курса. Но, положа руку на сердце, можем ли мы обвинять ее в недостаточной к нам благодарности? Что Германия вообще и Пруссия в особенности обязана нам чрезвычайно многим — это, конечно, не подлежит сомнению и даже официально ею признано. Но требовали ли мы от нее уплаты долга? Испытывали ли мы ее дружбу? Ставили ли мы ее в такое положение, в котором ей предстояло бы высказаться прямо и откровенно: за нас она, или против нас? Мне кажется, что нет, и что поэтому, если мы можем упрекнуть Германию, то разве только в том, что ее признательность не слишком предупредительного свойства. Если частный человек, оказавший другому большие услуги, по деликатности или другим причинам не обращается к другу за помощью «в минуту жизни трудную», когда, следовательно, и наступил настоящий срок уплаты, не требует от него уплаты долга и довольствуется кое-какими мелочными услугами, от времени до времени замолвленным словцом; а друг, по собственному побуждению, не спешит на выручку, но остается доволен такою непритязательностью, дающею ему возможность сохранить наружное благоприличие и не ставящею его в затруднительное положение — или честно уплатить свой долг, или удивить мир своею неблагодарностью: — мы, строго говоря, в праве назвать такого друга — ложным другом. Но едва ли такой высокий нравственный критерий имеет применение к дружбе политической.

Военных успех и политическая неудача России, благодарность Англии, исполнение обещания, данного Австрии вознаградить ее на Востоке за потери в Германии и Италии, без явного нарушения своих дружественных отношений к России, — ведь это все, чего только могла желать и о чем едва ли могла мечтать Германия. И всего этого лишиться, не ради избежания упрека в неблагодарности, а просто из-за излишней предупредительности, из-за навязчивости своею благодарностью! Я искренно убежден, что такая мысль не только совершенно невместима в голову европейского политика, но даже, что едва ли она и должна вмещаться в голову какого бы то ни было политика.

Мысль о желательности для Германии чисто военного успеха России может, пожалуй, показаться парадоксальною. Такой скептицизм был бы весьма неоснователен. Для Германии чрезвычайно важно мочь сказать: «смотрите, какого мы имеем союзника и друга. Для себя он, конечно, извлек очень мало пользы из своей силы, но для нас, поверьте, сумеет ее извлечь. За это мы вам ручаемся». Впрочем, важность для Германии русского военного успеха не есть только наше личное, более или менее вероятное, предположение. Разъяснить это обстоятельство принял на себя труд весьма влиятельный член германского рейхстага. Он сказал: что «неудачи русской армии в начале войны заставляли опасаться только ослабления России, что она могла бы перестать служить достаточною поддержкою (какова честь, подумайте!) для сохранения того положения, которое Германия занимает в Европе». Кажется, — ясно, и чего же приятнее, когда вместо слабости оказалась сила, но не про себя, а про нужды Германии?

Но возвращаемся к нашему вопросу. Кто-же, или что заставило нас пренебречь благим советом знаменитого канцлера? На вопрос, кто, мы отвечать не можем по множеству причин. Во-первых, потому, что этого не знаем; во-вторых потому, что если бы и знали, то не могли бы напечатать; в-третьих, наконец, потому, что не придаем этому ни малейшего значения. Пройдет несколько десятков лет, и будущие читатели тогдашнего Русского Архива или Русской Старины узнают, по чьей ошибке, недосмотру, недоразумению, заблуждению, сделано было то или другое упущение, по чьему совету принята та или другая ложная мера и не принято надлежащей меры. Все это будет чрезвычайно любопытно, еще любопытнее оно было бы теперь — но настолько же бесполезно, насколько любопытно.

Говорим мы это не потому, что склонны отвергать или умалять влияние личного элемента в истории, согласно с теориями ныне господствующей исторической школы. Совершенно напротив, мы полагаем, что гораздо более правды в Карлейлевом культе героев, чем в учении этой школы. Мы думаем, что без князя Бисмарка еще долго пришлось бы Немцам мечтать за кружкой пива о газемт-фатерланде[[10]](#note10), что все добро и все зло Петровской реформы имело своим главным источником силу гения и воли Петра. Но, с другой стороны, люди обыкновенных размеров, без выдающейся оригинальности и силы мысли, без необыкновенной энергии воли, отражают в себе направление той среды, которою окружены, подчиняются господствующему настроению умов, живут традициями и предрассудками прошлого. Следовательно, в этом направлении, в традициях и предрассудках среды, в общественном мнении, господствовавшем, если и не в тот исторический момент, когда им приходится действовать, то в то время, когда складывался их образ мыслей, должно искать корни как их полезных действий, так и их ошибок. Они не способны идти против течения и следуют раз данному им толчку. Возьмем для примера хоть настоящий образ действий Англии, где характер общего направления мнений очевиднее, чем в какой-либо другой стране. Разве граф Биконсфильд не есть продукт этого направления и не следует за потоком общественного мнения, хотя бесспорно имеет все необходимые качества ума и воли, чтобы быть его достойным представителем и главою? Поэтому, люди, гораздо выше его стоящие по широте взгляда, положим как Гладстон и Брайт, оказываются неравносильными ему, побежденными соперниками. Если б эти люди даже стояли в главе правительства, они должны бы были уступить ему поле действия, как только русские успехи задели бы за живое предрассудки и самолюбие Английской нации; такого рода случай и был перед началом Крымской войны: миролюбивый Абердин[[11]](#note11) должен был уступить место воинственному Пальмерстону, а Кобден[[12]](#note12) лишился даже места в парламенте. Основываясь на этом, мы и считаем возможным ответить на вопрос: что было причиною всех недоразумений, ошибок и упущений, которые привели нас к такой поразительной политической неудаче после не менее поразительных военных успехов?

Ответ на этот вопрос заключается во всей истории внешних отношений России в течение всего XIX столетия.

Не входя в исследование, как благодетельного, так и вредного влияния Петровской реформы в чисто культурном отношении, мы ограничимся лишь тем фактом, что, несмотря на подражательность в обычаях, нравах и образе жизни высших слоев нашего общества, — направление внешней политики России, в течение всего XVIII столетия, оставалось вполне русским. В эту сферу предпочтение чужого своему еще не успело проникнуть. Русских вельмож того времени, в их отношении к иностранному, можно сравнить с римскими патрициями времен империи. Эти патриции усвоили себе греческую элегантность манер, костюма, образа жизни, отдавали справедливое предпочтение греческому искусству и греческой науке, держали при себе домашних греческих живописцев, скульпторов, врачей, педагогов и даже философов; но то, что они считали высшею сферой человеческой деятельности, т.е. политика, продолжало носить чисто римский характер. Так и наши Екатерининские вельможи, хотя и преклонялись перед европейскими — собственно французскими — наукой, литературой, искусством, промышленностью и модой, но сохраняли в этом преклонении некоторый оттенок полупрезрительного покровительства, и не допускали мысли предпочтения политических интересов высокопросвещенной Европы интересам своей варварской и грубой России; не допускали мысли, чтобы сила и могущество России могли служить не русским целям, хотя бы и окрестить их названием возвышеннейших интересов человечества.

Когда грянула французская революция, и монархия вместе с аристократией были попраны разгулявшеюся чернью, — это не могло не оскорбить монархических и аристократических чувств императрицы и ее вельмож; но солидарности между собой и побежденною стороною вообще они не чувствовали. И в самую бурную эпоху, в самый разгар революционных страстей, русская политика продолжала преследование своих целей: оканчивалась вторая турецкая война, штурмовались Измаил и Прага, совершался третий раздел Польши. Не было недостатка, со стороны консервативных интересов Европы, в заискиваниях и просьбах о помощи; была даже собрана русская армия на западных границах; но императрица все медлила, все мы не шли искать похмелья в чужом пиру. Вопрос: что же выиграет Россия от победы? Удерживал от деятельного вмешательства в чуждые России европейские дела.

С кончиной великой Императрицы все это изменилось. Русские войска были двинуты на помощь Австрии и Англии, ради интересов совершенно чуждых России.[[13]](#note13) Война была блистательна, подвиги русских изумительны; но и в 1799 г., как и в 1878 г., можно было воскликнуть: горе победителям! Победы были напрасны, от плодов их не осталось и следа. Конечно, это горе было легче сносить, потому что и самые плоды русских побед принадлежали тогда Австрии. После этой первой попытки употребления русских сил для чуждых России целей, сейчас же последовало и разочарование. Император Павел, наученный опытом, верно понял отношения России к Европе. На записке графа Растопчина против слов: "Одна лишь выгода из сего (из войны 1799 года) произошла — то, что сею войной разорвались все почти союзы России с другими землями. Ваше императорское величество давно уже со мною согласны, что Россия с прочими державами не должна иметь иных связей кроме торговых. Переменяющиеся столь часто обстоятельства могут рождать и новые сношения и новые связи, но все сие может быть случайно, временно", — император Павел собственноручно написал: «святая истина».

Но урок был, к сожаленью, скоро забыт. Побудительною причиной военных приготовлений Екатерины и войны Павла была мысль о сохранении и восстановлении интересов консерватизма и легитимизма, нарушенных французской революцией. Это была та маска, при помощи которой проскользнула в русскую политику — забота об европейских интересах. Но уже и этой побудительной причины не существовало, когда в 1805 году мы явились опять на выручку Австрии, подобно громоотводу притянувшей на себя удар, назначавшийся Англии. В это время сам Наполеон уже принял в свои могучие руки охрану консервативных интересов.

Поводом к этой второй, не в русских интересах затеянной, войне служило уже обуздание ненасытного честолюбия Наполеона. Но вполне ли справедливо это обвинение, тяготеющее над памятью великого человека — обвинение, принятое нами от его врагов англичан и немцев и, в новейшее время, от враждебных ему демократических писателей? А, главное, было ли это честолюбие направлено против России, имело ли оно в виду нанесение ей вреда, умаление ее политического значения, как это несомненно постоянно имеет в виду действительно ненасытное честолюбие Англии, с которым, однако же, мы так желаем ужиться? — И то и другое опровергается фактами.

Наполеон, 19-го брюмера, низверг директорию. Но нам ли было принимать на себя защиту революционной легальности? Первая война, которую он вел как самостоятельный властитель Франции, против Англии и Австрии, и со славою окончил столь умеренным Амиенским и Люневильским миром, была ему завещана директорией. Он возложил на себя императорскую корону, — но то было единственным средством доставить победу монархическому принципу, и опять-таки не нам и даже не европейским монархиям было за это на него негодовать. Он возобновил войну против Англии, и, с какой точки зрения ни смотреть на это, за исключением точки зрения английского властолюбия, — право было на его стороне. Он поддерживал этим традиционную политику Франции. Утвердив ее могущество и силу на материке Европы, не мог же он равнодушно сносить, что все ее богатые и цветущие колонии перешли в руки ее исторического врага. В этом еще нет признаков алчного, ненасытного честолюбия. С точки зрения общих всемирных интересов, политика Наполеона также была в этом случае разумна, справедлива и дальновидна. Не нашла ли себя даже императрица Екатерина вынужденною прибегнуть к политике вооруженного нейтралитета[[14]](#note14), для противодействия английскому самоуправству на морях? Но сколько же раз более страдали от него интересы Франции, издавна ведшей обширную морскую торговлю, чем интересы России? Наконец, и с точки зрения легальности, не Англия ли была главною нарушительницею Амиенского мира тем, что не оставляла Мальты, как обязалась по договору? Присвоение себе острова на Средиземном море было, подобно теперешнему захвату Кипра[[15]](#note15), вопиющим насилием, которого победоносная Франция, понимавшая свои интересы и свое достоинство, не могла снести. Но именно из этого возобновления войны с Англией, в котором все право было на стороне Наполеона, проистекла уже по необходимости, роковым образом, вся последующая его деятельность. При помощи золота и дипломатического искусства Англия с этих пор возбуждала против него все новых и новых врагов, надеявшихся загладить свои прежние неудачи; а победы над ними поставили Наполеона на вершину политического величия, и тем заслужили ему укор в ненасытном честолюбии. Не он был зачинщиком войн 1805, 1806 и 1809 годов; а разгромив своих врагов, не мог же он оставить в их руках ту силу, которую они повторно употребляли против него.

Уничтожение французского флота и, вследствие этого, невозможность произвести высадку на берега Англии, заставили изобретательный ум Наполеона прибегнуть к единственному действительному оружию против своего непримиримого противника — к континентальной системе — мере, неоцененной его современниками, но которая, тем не менее, могущественнейшим образом содействовала развитию промышленности на материке: — упомяну лишь о свеклосахарном производстве, которое она породила.

Конечно, Наполеона можно упрекнуть в неразборчивости средств, к которым он иногда прибегал; но и в этом противник его, Англия, по меньшей мере, ни в чем ему не уступала, прибегая к мерам, подобным бомбардировке Копенгагена, причем, однако же, подобными действиями ничего не возбуждала, кроме бесплодного и скоропреходящего негодования.

Но, каковы бы ни были действия Наполеона относительно Голландии, Италии, Испании, мелких германских государств, Пруссии и Австрии, — относительно России он постоянно высказывал самое дружеское расположение, искал ее союза, предоставлял ей самое широкое поле действия. Если, по роковому ходу событий, проистекавших из твердого и неуклонного стремления Наполеона достигнуть своей вполне законной, справедливой, неизбежно для него необходимой цели — обуздать и смирить Англию, близок он был к достижению всемирного владычества, — то он призывал Россию разделить его с ним, чувствуя, что одному ему оно было не под силу. Россия смело и с чистою совестью могла бы последовать этому призыву, потому что все могущество и величие, которые пришлись бы на ее долю в этом разделе, принадлежали и принадлежат ей по праву: в них не заключалось никакого хищения или неправого стяжания.

Призывая Россию в первый раз к союзу, Наполеон великодушно отпускал ей пленных, которых Англия не хотела обменять на французов, томившихся на ее кораблях-тюрьмах, не взирая на то, что русские попали в плен единственно по вине Англии и защищая ее интересы. Тогда обстоятельства еще не привели Наполеона в близкие отношения к России, и, конечно, он еще не мог предвидеть, что власть его будет простираться до берегов Немана. Он повторил свое приглашение в Тильзите, предоставляя России все выгоды, каких только она могла желать. Наконец, Наполеон не переставал предлагать своего союза и в то время, когда был побежден, справедливо полагая, что его уничтожение не может лежать в истинных интересах России, и что, подобно тому, как он, наверху могущества и после победы, считал усиление и возвеличение России вполне сообразным с своими интересами, — так и Россия, после его поражения, поймет, что сохранение его могущества требуется ее собственными выгодами.

Из этого очевидно, что Наполеон считал союз с Россией не временною сделкою, имевшею для него важность при тех или других случайных обстоятельствах, а политическою необходимостью, существенною частью своей политической системы, независимо от временных отношений между обеими державами, независимо от победы той или другой стороны. Война между Россией и Францией справедливо казалась ему лишь результатом недоразумений, наговоров, интриг, непонимания истинных интересов обеих государств, и потому он надеялся и верил, что свидание с императором Александром рассеет этот напускной туман. Того же мнения держались и некоторые русские люди высокого ума и несомненной преданности и любви к России. Сперанский и Румянцев[[16]](#note16) держались его еще до прискорбных недоразумений, поведших к войне 1812 года, а сам победитель Наполеона Кутузов был того же мнения и после этой войны.

В самом деле, могущество Наполеона нейтрализовало деятельность Англии и Австрии — этих главных противников нашей восточной политики; собственные же интересы Франции на Востоке далеко не могли уравновесить в его глазах выгод от искреннего содействия России его планам на Западе. Про Польшу он сам говорил, что считал ее лишь орудием в своих руках, которым он охотно бы пожертвовал, убедившись, что Россия без задних мыслей входит в его политические планы, которые были совершенно согласимы с тем направлением русской политики, какому следовали Петр и Екатерина. В причинах, побудивших Россию, с таким напряжением сил, вести против Наполеона войны 1805, 1807, 1812, 1813 и 1814 годов, невозможно отыскать никакого существенно русского интереса. Они были предприняты в защиту чуждых нам целей и интересов: английских, прусских, австрийских, германских, пожалуй — итальянских, голландских, испанских и португальских, одним словом — интересов и целей европейских, но никак не русских. Мы низвергли не только совершенно безвредное, но существенно полезное для нас могущество Наполеона, для того чтобы укрепить могущество Англии и восстановить силу Австрии, которые и прежде и после этого всегда были нам враждебны, которые стояли и стоят поперек всем нашим исконным, законнейшим и справедливейшим стремлениям; мы разметали могучие когорты великого Императора для того, чтобы освободить Германию и вывести из ничтожества Пруссию, ни прежде, ни после этого не оказавших нам никакой действительной помощи в тех затруднительных обстоятельствах, в которые мы попадали, благодаря все той же Англии, все той же Австрии и самой Франции. И ради чего же мы так действовали? — ради сомнительной чести считаться деятельным и бескорыстным членом европейской политической системы — чести, которой все-таки, однако же, не достигли в сознании европейских правительств и европейского общественного мнения.

Не замечателен ли в самом деле факт, что из всех союзов, которые Россия, по смерти императрицы Екатерины, заключала с разными государствами, извлекали для себя пользу только наши союзники, достижению же наших целей эти союзы никогда не содействовали, а, напротив того, были лишь путами, связывавшими свободу наших действий? В критические для нас моменты, союзники наши всегда держали более или менее явно сторону наших врагов. Так, Священный союз, затормозивший нашу деятельность в пользу восставших Греков, держался лишь до тех пор, пока нам потребовалась его помощь; так и недавний союз трех императоров не пережил первого испытания. Единственное исключение из этого правила составляет наш союз с Наполеоном после Тильзитского мира, доставивший нам Финляндию, Бессарабию, Белостокстую область и Тарнопольский округ Галиции.

После неудачи 1805 года — этого истинного похмелья на чужом пиру, — мы обратились было к преследованию наших собственных интересов, и начали обычную войну с Турцией. Но лишь только появился новый повод выказать наше сочувствие европейскому делу, — свое дело было поставлено на задний план. Начатая война велась кое-как, а все силы были сосредоточены для новой борьбы с Наполеоном. Чуждое нам дело — защиту Пруссии — приняли мы в такой степени к сердцу, что в первый раз, в нашей новейшей истории, прибегли к призыву народного ополчения. Результаты войны 1807 года были в своем роде не менее изумительны, чем результаты компании, веденной 70 лет после нее, — но только в обратном смысле. Если теперь нам приходится восклицать: горе победителям! то после Тильзитского мира мы имели повод к не менее парадоксальному восклицанию: благо побежденным!

Гений Наполеона указывал России на прежнюю Петровскую и Екатерининскую политику, с которой мы сбились после смерти великой Императрицы. Руководимые его указаниями, мы и вступили на нее, но увы! не на долго. Заботы об интересах Европы скоро вытеснили из нашей политики заботы об интересах России, самое понимание которых как бы утратилось. Менее чем через два года, мы стали уже тяготиться ее национальным направлением и стремились снова стать на европейскую точку зрения. В 1809 году, обязанные трактатом помогать Наполеону в его новой войне с Австрией, мы отбросили даже свою обычную во внешних сношениях легальность, и вели войну только для формы, чем и лишили себя случая возвратить исконное достояние России — Галицкую Русь. В следующем году, мы точно также нарушили эту легальность допущением торговли с англичанами через Архангельск. Действуя таким образом, мы не могли не предвидеть, что это поведет к ссоре с Наполеоном, не столько по важности самих отступлений от трактата, сколько по выражавшемуся в них духу нашей политики. Мы как бы давали знать Наполеону, чтобы он на нас не рассчитывал, что мы ему не пособники, что наших русских интересов мы или не понимаем, или ставим их ни во что, в сравнении с более дорогими нашему сердцу интересами европейскими. Чувствуя и зная, что Наполеон понял нашу политику, мы готовились к борьбе с ним, хотя, может быть, и не ожидали, что она наступит так скоро, и потому вели войну против Турции вяло, не употребляли на нее должных сил и, таким образом, из-за преследования европейских интересов, лишились Молдавии и Валахии, упустили случай тогда еще освободить Болгарию, по крайней мере до Балкан, стать твердою ногою на Балканах и утвердить зарождавшуюся независимость Сербии в более обширных границах, чем это удалось впоследствии Милошу[[17]](#note17). Когда неприятель вторгся в русские пределы, по каким бы то ни было причинам, он, конечно, должен был быть из них выгнан; но, тем не менее, грустно сознание, что Бородинская битва, оставление и пожар Москвы, разорение значительной части государства, — были в сущности жертвы, принесенные нами ради интересов нам чуждых, и, как оказалось впоследствии, — что, впрочем, и тогда можно было предвидеть, а некоторыми (Сперанским, Румянцевым) и предвиделось, — не только чуждых, но и прямо нам враждебных.

Как бы это ни показалось странным, но мы смело утверждаем, что в течение XIX столетия — Россия имела только одного истинного друга в Европе, который и хотел, и мог быть ей полезным, — это Наполеона I. Дружбу эту, конечно, выгодную и для него, — в политике другой дружбы не бывает, да и не должно быть, — выказал он нам делами, положительными услугами, а не словами только, как прочие наши друзья, нами облагодетельствованные, спасенные и даже возвеличенные. Он готов был дать нам и гораздо сильнейшие доказательства своей дружбы, если бы мы только захотели принять ее искренно, без задних мыслей, если бы мы решились быть только русскими и ничем более. Но мы предпочли быть европейцами и, ради Европы, собственными руками низвергли и погубили своего единственного друга, а потому, 18-го марта 1814 года, в стенах Парижа, окруженные торжеством и блеском победы — если бы ясно понимали сущность нами совершенного и его последствия — мы точно также как 19-го февраля 1878 года под стенами Константинополя, в виду куполов святой Софии, должны были бы воскликнуть: горе победителям!

Наша десятилетняя, славная в военном, но не в политическом смысле борьба против Наполеона не принесла нам никакой пользы. Правда, мы получили, в вознаграждение наших жертв и усилий, Царство Польское; но, не говоря уже о том, что то же самое и даже еще гораздо более мы могли бы получить и через Наполеона, вспомним те цели и намерения, с которыми мы делали это приобретение в 1815 году. Оно должно было послужить началом раздробления России и восстановлением Польши в пределах 1772-го года; великое политическое преступление Екатерины должно было быть искуплено отторжением девяти русских губерний, подобно тому, как в малом виде это уже было испробовано над Выборгской губернией. Результатом этой политики были два кровавых возмущения 1830-го и 1863-го годов.

Кроме этого сомнительной пользы приобретения, чего же мы еще добились? Мы усилили наших врагов (Англию и Австрию) и не приобрели ни одного истинного друга и союзника. Мы связали себя на долгое время вредною для нас политикою так называемой солидарности с Европой. Мы сочли себя обязанными нести огромную военную тягость ради устрашения революционного духа в Италии и между германскими студентами. Мы даже смешали и национальное движение Греции с революционным. Мы самих себя причислили, вопреки истории, этнографии и статистике, к числу держав, по существу своему враждебных национальной свободе, и тем связали себе руки относительно Греков и Славян. Этой связывавшей нас веревки не могли разорвать войны 1828 и 1829 годов, она продолжала связывать и спутывать наши действия, как в 1853, так и в 1876, 1877 и 1878 годах.

Не захотев содействовать планам Наполеона, потому что они были направлены против интересов Европы, хотя содействие это не налагало на нас никаких иных обязательств, кроме преследований своих собственных, вполне законных и справедливых Петровских и Екатерининских планов, — мы предпочли поступить на службу к Меттерниху с явною уже обязанностью действовать вопреки очевиднейшим интересам России, вопреки действительно священным религиозным и национальным сочувствиям и стремлениям русского народа.

Стремления и сочувствия эти не могли, однако же, быть совершенно подавлены. Они вспыхивали от времени до времени в 1828, 1853, 1876 и 1877 годах. Но, с другой стороны, и противоположное им европейничанье в политике сохраняло свою силу. Традиция его хранилась преимущественно в дипломатических сферах. Поэтому и после 1815-го года внешняя политика России сохранила тот же характер двойственности, нерешительности, колебания между двумя притягательными полюсами интересов русско-славянских и интересов европейских, который она имела в начале столетия, или, правильнее сказать с самой смерти великой Императрицы, при которой русская политика знала только один русский интерес и ни о какой солидарности не заботилась. В этом заключается причина того обаяния, того ореола, которым окружен ее блистательный век в памяти потомства. Не собственно военные подвиги, не Кагул, Чесма, Рымник, Измаил и Прага придают ее царствованию лучезарный блеск. Русские войска совершали поcле нее подвиги не менее славные, даже еще более трудные, и притом против противников несравненно могущественнейших и искуснейших. Но эти новые подвиги, новые победы: Требия, Нови, С.-Готард, Бородино, Лейпциг, двукратный переход через Балканы и многие другие — отчасти не имели ничего общего с интересами России, отчасти же результаты их были приносимы в жертву чуждым и враждебным нам европейским интересам, именно вследствие шаткости, неопределенности нашей политической точки зрения, заменившей твердый, исключительно русский политический взгляд Петра и Екатерины.

Так, когда, после долгого колебания, русское направление политики одержало вверх, и император Николай I объявил войну Турции в 1828 году, результаты ее были умалены почти до ничтожества, в угоду Австрии и ради соглашения с Англией. Когда, по добровольному уговору с Турцией, мы могли приобрести Молдавию и Валахию взамен контрибуции, мы предпочли лучше простить ей часть этого долга, чем причинить неудовольствие нашей верной союзнице по Священному союзу.

В 1849 году, когда Европа, ослабленная внутренними смутами, не имела возможности сколько-нибудь успешно противиться расширению нашего влияния на Востоке, мы опять стали на европейскую точку зрения и своими руками восстановили готовую рухнуть монархию Габсбургов[[18]](#note18), исконную противницу нашей восточной политики. Некоторые результаты венгерской войны: именно ознакомление венгерских славян с русскими и временное освобождение их от мадьярского гнета — выставляют часто полезными для России и Славянства. Но очевидно, что не эти, побочные, косвенные результаты имела в виду русская политика, при оказании помощи погибавшей Австрии. Притом, если этот поход русских на Карпаты и послужил к сближению с нами некоторых славянских племен и к уничтожению мадьярского гнета, тотчас же, впрочем замененного гневом немецким, то это было лишь на короткое время, и в конце концов послужило лишь к его восстановлению и усилению. Если бы же, напротив того, Венгрия выделилась из состава Габсбургской монархии, — то, слабая и ничтожная, она не могла составить сколько-нибудь действительной преграды России на Востоке; напротив того, она должна была бы искать покровительства России, против которой мадьяры не имели тогда никакой враждебности. При слабости своей, Венгрия точно также не могла бы держаться системы угнетения относительно славян, а если бы и вздумала ее придерживаться, то это повело бы лишь к выделению славянских и румынских элементов из состава венгерского государства. Но, как бы это там ни было, — очевидно, что помощь, оказанная Австрии в 1849 году, была одною из главных причин неудачи Восточной войны. И в этот раз, как много раз прежде, наша политика с ее европейской точки зрения более всего повредила нашей политике, ставшей было в 1853 году снова на русскую точку зрения. Но и тут мы стали на нее опять-таки нерешительно, с оглядками, как и в продолжении всего XIX столетия. Вместо быстрого и решительного образа действий, мы приняли систему постепенных уступок, столь противоречащих внезапности и, можно сказать, резкости первого нашего дипломатического шага в Константинополе. И, как всегда, последствием этой медленности и нерешительности было то, что враги наши успели собраться с силами, приготовиться, соединиться и тем окончательно нанести нам поражение. И тогда мы верили в благодарность Австрии, в Священный союз, в доброжелательство, честность и бескорыстие Англии, хотели сговориться, сладиться с нашими противниками, которых даже и не признавали за таковых: и так же точно были обмануты в своих расчетах, как и теперь, благодаря все той же двойственности нашей политики, желающей, чтобы и овцы были целы, и волки сыты В результате же только волки и оказываются сытыми.

Из этого краткого обзора истории внешних отношений России в течение последних 80-ти лет, ясно оказывается, что всякое действие России, имевшее в виду соблюдение, охранение или восстановление интересов Европы, заставляло упускать из виду русские интересы, пренебрегать и жертвовать ими различными способами.

Напротив того, когда мы отбрасывали в сторону заботу о Европе — мы завоевали Финляндию и, следуя той же политике, очевидно, могли бы сделать несравненно важнейшие приобретения, достигнуть гораздо существеннейших целей.

С другой стороны, Европа, как только внутренние ее дела давали ей к тому возможность, постоянно противодействовала нам всякий раз, когда мы предпринимали что-либо в пользу свою или Славян, противодействовала всеми силами, какие в данный момент находились в ее распоряжении.

После этих неопровержимых, постоянно повторявшихся фактов, позволительно будет сделать вопрос существует ли между Россией и Европой какая-либо солидарность, какая-либо общность политических интересов? Если же, как показывает 80-тилетний опыт, этой солидарности, этой общности не существует, то каким образом могут Россия и Европа составлять одну политическую систему государств? Не до очевидности ли ясно, что, по крайней мере в политическом отношении, Россия к Европе не принадлежит?

У нас твердо укоренилось убеждение в принадлежности России к Европе в смысле культурном, и из смешения этих двух совершенно различных точек зрения, политической и культурной, мы бьемся изо всех сил примкнуть к Европе и в политическом смысле, принося все большие и большие жертвы этому пагубному заблуждению. О культурно-историческом европеизме России я точно и определенно высказал свое мнение в другом месте, и теперь этого вопроса не касаюсь. Я готов даже согласиться (конечно, не иначе, как в виде риторической фигуры уступления) на эту нашу культурную принадлежность к Европе. Но что же из этого следует? Япония предприняла в последние десятилетия ряд реформ, выказывающих ее намерение усвоить себе плоды европейской цивилизации не в научном только, но и в политическом и, пожалуй, даже в бытовом смысле. Допустим, что реформа эта будет вполне удачна и будет продолжать развиваться все в том же европейском духе, и что, через несколько десятилетий, это восточно-азиатское государство сделается до неузнаваемости похожим на свои европейские образцы. Примкнет ли через то Япония к политической системе европейских государств? Но оставим будущее и проблематическое. У нас на глазах Америка, которая, в культурном отношении, есть уже бесспорно кость от костей и плоть от плоти европейской. Самые прогрессивные элементы Европы XVII столетия переселились за океан, затем освободились от своей метрополии, и население штатов постоянно пополнялось переселенцами из всех образованнейших, культурнейших стран Европы. И что же? Принадлежат ли Северо-Американ-ские штаты к европейской политической системе? Ответом на это служит один из политических догматов американцев — учение Монроэ!

Но Япония отделена от Европы всем материковым протяжением Старого света, а Америка — Атлантическим океаном, между тем как Россия с нею сопредельна. Возражение совершенно ничтожное. География имеет, правда, свое значение в этом вопросе, но в совершенно противоположном смысле, как мы сейчас увидим; главное дело состоит все-таки в том, что между Европою, с одной стороны, и Америкою или Япониею —  с другой, не существует общности, солидарности интересов. Если бы они существовали, то при быстроте и удобстве теперешних сообщений, отдаленность не помешала бы их принадлежности к одной и той же политической системе. Географическое удаление, в соединении с разными другими условиями, оказывает то влияние, что интересы Европы и Америки—в настоящем, интересы Европы и Японии — в предполагаемом будущем — совершенно другие, большею частью не перекрещивающиеся, не сталкивающиеся между собою, и потому можно сказать только то, что Америка и Япония — не Европа в политическом смысле. Но именно сопредельность России с Европой причиной тому, что интересы России не только иные, чем интересы Европы, но что они взаимно противоположны, что, следовательно, в политическом смысле Россия не только не Европа, но Анти-Европа.

На чем же основан этот антагонизм? На двух главных причинах, совершенно неустранимых до окончательного торжества одной из сторон. На славянстве России — и на стремлении Англии к бесспорному преобладанию на азиатском материке, с которым связано и все ее морское владычество. К этому присоединяется еще и третья причина, меньшего значения и не столь неустранимого свойства: противоположность между православием и католицизмом, борцом за который является, впрочем более по предрассудку и традиции, Франция. Все эти три противоположности замечательным образом спутываются в один узел на Босфоре, в Дарданеллах и в Константинополе.

Сила и могущество Европы — в целом — в значительной степени покоится частью на костях Славянства, частью на его поте, крови и слезах. На костях Славянства основано самое существование, а не только могущество Пруссии, а с нею и могущество Германии. Но этот вопрос уже покончен историей еще в то время, когда оплот Славянства, — Россия, только что зарождалась. Те, на долю которых выпал жребий охранять его в то время — преимущество Польши, не только не исполнили своего назначения, но даже содействовали его гибели (например, призывом рыцарского ордена), и потому, между прочим, Польша и сама погибла. Непосредственный антагонизм между Россией и Европой или, точнее, между Россией и Германией даже и не возникал по этому поводу. Но всякое дело человеческое ведет за собою длинный, нескончаемый ряд последствий, и Германия до сих пор не может отрешиться и никогда не отрешится от своего антиславянского направления. Ее политические сочувствия всегда будут на стороне поработителей и угнетателей Славянства, не взирая на временные и случайные политические комбинации, не взирая на временное возбуждение негодования на слишком уже бесцеремонных врагов его — негодования, которого не чужды иногда бывают даже и англичане. Опыт достаточно показал, что обольщаться этим негодованием и возлагать на него надежды не следует. Корни исторической вражды рас проникли слишком глубоко, чтобы это могло измениться.

Не столь радикален, как образ действий северных немцев, был образ действий немцев южных, итальянцев, мадьяр и турок, и потому на юго-востоке Европы политически могущественная Россия еще застала славянство в живых, и, несмотря на свое увлечение европеизмом, от времени до времени, вольно и невольно, частью ведением, частью неведением, оказывала ему помощь, то здесь то том, то так то иначе. Всякая подобная попытка была достаточна, чтобы возбуждать противодействие Европы. Пусть биржевая политика и вообще политический материализм говорят, что мы сами в этом виноваты: зачем де прерывать ход биржевых спекуляций из-за дела собственно до нас не касающегося? Лучше умалиться, принизиться, чем прерывать торжественное течение биржевых дел. Но и этот благой совет ничему не пособит. Всякие политические тенденции и направления скоропреходящи, непостоянны, а народные сочувствия, исторические инстинкты неискоренимы, и нет-нет, да и прорвутся совершенно нежданно и негаданно, как в 1876 году, заставят и политику и дипломатию выйти против воли из своей колеи, несмотря на твердо и незыблемо установившееся, по-видимому, дипломатическое миросозерцание. Да и за самих политических деятелей не только в будущем, но даже и в настоящем, разве можно поручиться? Вдруг провернется какой-нибудь Черняев, или Игнатьев[[19]](#note19), не говоря уже о Потемкиных, и о других русских орлах такого-же, и даже еще более высокого полета. Это ведь также все в руце Божией, как это и Европе очень хорошо известно. Следовательно, ни на какое миролюбие полагаться нельзя и меры надо принять радикальные. Народные влечения основаны на более прочном фундаменте, чем вчерашние, сегодняшние или завтрашние биржевые или дипломатические воззрения. Поэтому, никакое умаление или принижение не поможет и в будущем, как не помогало до сих пор. Никакое любезничанье, никакие услуги, никакие уступки, жертвы, отречения от самих себя — не помогут, как не помогали до сих пор. Антагонизм Европы и России, основанный на славянстве России, не только сохранится по прежнему, но будет все возрастать и возрастать, по мере возрастания внутренних сил России, по мере пробуждения и уяснения народного сознания, как Русского, так и других Славянских народов. Надо, впрочем, сказать, что этот биржевой взгляд на дело, этот политический материализм, никогда не руководил направлением русской политики. Ошибки ее проистекали из совершенно иного источника, более идиллического свойства: от искреннего высокопочитания Европы и благоговения перед нею, а иногда даже от тщеславного желания заслужить похвалы и рукоплескания ее ораторов и журналистов.

В антагонизме России и Европы, на сколько он обусловливается славянством России — представителем материка Европы является Австрия, как наиболее заинтересованная в этом деле, имея в резерве за собой Германию.

Если бы Славяне жили и страдали где-нибудь в глуби материка, а не по соседству с столь жизненными пунктами, как Босфор и Дарданеллы, англичане довольно равнодушно смотрели бы на наше заступничество за угнетенных братьев, пожалуй, даже сочувствовали бы ему, так как склонны к филантропии, если она не противоречит более существенным британским интересам. Но теперь, страна, гордящаяся сочувствием всем угнетенным народам, подает руку на самое жестокое угнетение, на самое ужасное тиранство, какое только видел мир в новейшее время, потому, что, по ее мнению, освобожденные Славяне сделаются сторонниками, друзьями, союзниками России, и жизненный узел старого света — Босфор и Дарданеллы попадут в зависимость России, могущей получить через это возможность угрожать всемирному морскому владычеству Англии, которого последняя добивалась в течение всей новейшей истории, с самого царствования Елизаветы. Войны против всех государств, обладавших заморскими колониями, составляют сущность английской политики за все это время, и Англия предпринимала их под видом охранения европейского равновесия. Сначала черед был за Испанией, потом за Францией, во время Людовиков XIV, XV, XVI, революции и Наполеона. Присоединение Голландии к Франции дало желанный предлог овладеть наиболее важными колониями и этой последней. Таким образом, почти все колонии европейских государств подпали под власть Англии или под ее преобладающее влияние. Посредством этих же войн, веденных якобы из-за охранения европейского равновесия, а также посредством отдельных захватов, при всяком удобном случае, очутились во власти Англии: главные проливы — Гибралтар, Перим, Сингапур; острова при входах во внутренние моря, как например Малые Антильские, центральные пункты во внутренних морях, как Мальта, Ямайка, прибрежные острова, составляющие сторожевые, наблюдательные пункты, как Гольголанд, Гонг-Конг, Кипр; пункты перекрещения океанских путей,  как остров св. Елены, мыс Доброй Надежды; наконец, целые материки или обширные тропические страны, как Австралия и Индия.

Но что собственно значит всемирное морское владычество? Непосредственно море никакому владычеству не поддается. Одно торговое преобладание, доставляемое обилием капиталов, развитием промышленности,  обширностью коммерческих сношений —  непрочно, как доказал пример Ганзы, итальянских республик, Голландии. Переведенное на общепонятный язык, морское владычество означает политическую власть, или, по меньшей мере, почти исключительное преобладающее политическое влияние во всех частях света, туземные государства которых не обладают достаточным военным могуществом, для сопротивления собственными силами флотам и десантам владычицы морей. В таком именно положении и находятся все части света, кроме Европы и Северной Америки. Австралия принадлежит уж бесспорно Англии. Африка пока не имеет большого значения по недоступности ее внутренности, но и на этом континенте преобладание Англии бесспорно. Южная Америка находится под политическим и торговым влиянием Англии. На Северную Америку, со времени усиления Соединенных Штатов, всякая надежда потеряна. Остается, следовательно, для довершения всемирного морского владычества, утвердить власть Англии над обширнейшим и богатейшим азиатским материком. Лучшие страны его уже подчинены Англии. В сохранении и распространении этой власти над Азией и заключается в настоящее время для Англии весь вопрос о всемирном владычестве. И тут-то именно, с того времени, как Россия собственными руками низвергла последнего и самого страшного из прежних противников Англии — Наполеона, является она новым противником Англии, уже не в виде морской, а чисто континентальной державы. Россия, и только одна Россия имеет возможность угрожать Индии, в случае нужды подать помощь Китаю, защитить Персию и, вследствие ослабления Турции, с одной стороны, овладеть проливами, и через них угрожать кратчайшему пути сообщения с Индией, с другой же, по соседству, сделаться наследницею богатейших стран Азиатской Турции. Опасение это и выразилось в оборонительном союзе Англии с Турцией, посредством которого она овладела Кипром. Воспользуется ли Россия своим положением, захочет ли противодействовать Англии в ее обладании лучшими частями Азии, явится ли она, таким образом, противником ее всемирного морского владычества — этого Англия не разбирает. Она ничем не хочет быть обязанной, ни умеренности, ни расчету, ни великодушию своею противника, но стремится утвердить свое владычество единственно на собственной своей силе. При этом, как оказывается из ее последних действий, Англия не хочет довольствоваться сохранением своей Индийской империи, чем прежде оправдывала свой образ действий относительно России, но имеет очевидное намерение прибрать к своим рукам, как Афганистан, так и открывающееся, по ее собственным словам, наследство в Сирии, Месопотамии и Малой Азии.

Собственно говоря, такое преобладание Англии над азиатским материком не может быть приятно другим европейским государствам; но здесь-то и является на помощь Англии славянский вопрос. Англия, подобно тому, как она отняла все лучшие колонии других европейских государств, прикрывшись маскою заботы о сохранении европейского равновесия, под видом противодействия господству Филиппа II, Людовика XIV и Наполеона, чем и заслужила любовь и уважение Европы, — так и теперь пользуется тем же предлогом, принимая на себя охранение Европы от грозного панславизма.

К этим двум главным и неустранимым причинам антагонизма между Россией и Европой, неустранимым потому, что если бы Россия, по совету наших биржевых политических материалистов, даже отказалась от исполнения обязанностей, налагаемым на нее ее славянством, и от всех выгод своего положения в Азии (что она почти постоянно и делает), то это нисколько не обезоружило бы ее врагов, которые все, подобно Англии, основывают свою политику не на миролюбии в расчетах, не на ложном и неуместном великодушии России, а на самой сущности вещей, независящей ни от каких политических самоограничений, — к этим двум главным и неустранимым причинам присоединяется еще третья, по моему мнению, не столь существенная — это защита католических интересов на Востоке. Защита интересов католичества совсем не то, что защита интересов православия. Последнее ничего более не требует, как устранения угнетений, которые претерпевают православные; католичество же, как всегда и везде, где только может, домогается не свободы, а господства и преобладания над прочими христианскими исповеданиями, в особенности же над православием, для чего готово даже заключить союз с исламом. Защитницею этих интересов, не по действительному к ним сочувствию, а по предрассудку и традиции, является Франция.

 По небывалому, исключительному совпадению обстоятельств, которое никогда более не повторится, эти три причины антагонизма устранялись преобладанием Наполеона в Европе. Сокрушить могущество Англии было его главною целью, ради которой он готов был пожертвовать многим; — но и жертвовать ему ничем не приходилось, потому что освобождение и возвеличение Славянства могло состояться лишь ко вреду и к ущербу другого враждебного ему элемента в Европе, элемента германского. Наконец, нежелание папы войти в его планы, несмотря на все соблазны и прельщения, не допускало Наполеона принять на себя защиту интересов католичества, влияние которого, при том же, вскоре после революции было слабо и ничтожно во Франции. Поэтому-то Наполеон и был прирожденный враг Европы и, следовательно, друг России. Интересы его были антиевропейские, точно также, как и интересы России. Он понимал это тогдашнее тождество интересов Франции и России, но Россия, прельщенная своим недавним европеизмом, не понимала и не хотела этого понять. Она не понимает и не хочет понять и теперь своего коренного, ничем не устранимого антагонизма с Европой, обольщаясь мнимою и невозможною с нею солидарностью Европа же, освободясь от своего грозного властителя, сейчас же это поняла и продолжает понимать до сих пор.

Мы слышим, однако, нередко вопрос: что такое Европа? Есть, говорят, европейские государства, но никакой Европы в политическом смысле не существует. Когда Пруссия и Австрия отнимали у Дании Шлезвиг и Гольштинию, когда затем Пруссия присвоила одной себе эту сообща приобретенную добычу, когда она разрушила утвержденный и санкционированный всеми государствами Европы Германский союз, когда присоединяла к себе родственный Англии Ганновер, Гессен-Кассель, Нассау и вольный город Франкфурт, а затем отобрала у Франции две богатейшие провинции; когда Сардиния, при помощи революции, изгоняла неаполитанского короля и присвоила себе его владения и овладела Римом; когда, наконец, под шумок Берлинского конгресса — собрания, обеспечивавшего так называемую Европу от властолюбия и притязательности России, — Англия овладела Кипром и наложила свой протекторат на азиатские владения султана, — где была при всем этом Европа? Не думаем, чтобы такое сомнение было основательно. Европа не географическая (этой, пожалуй, что и нет), не культурная только, а именно Европа, как политическое целое, как политический организм, существует несомненно. Мнимое противоречие бездействий в одних случаях и напряженнейшей деятельности в других — очень легко примиряется, и новейшие события, в особенности овладение Кипром, именно и подтверждают существование Европы, как политического целого.

Всякий организм — будет ли то индивидуальный, как человек, или сложный, как государство, или коллективный, как система государств, — получает сознание о своем отдельном бытии только при пробуждении сознания своей противоположности чему-либо. Человек сознает себя как самостоятельное, отдельное я, потому только, что органы чувств доставляют ему свидетельство о существовании внешнего мира — не-я, которое оказывает на него воздействие. Если бы на земле существовал только один народ, то понятие о национальности не могло бы родиться. Греки, не взирая на то, что в культурном смысле противополагали себя другим народам — варварам, и даже не взирая на то, что имели некоторые учреждения общие всем греческим государствам, знали только Спартанское, Афинское и проч. государства, но не имели понятия о Греции, как о политическом целом, пока оно не пробудилось в них борьбою с Персами. Также точно и государства Европы получили понятие о себе, как о политическом целом, от противоположения мусульманскому Востоку. Вследствие борьбы с ним явилось сознание о себе, как о религиозном и политическом целом, которое называлось тогда не Европою, а всем христианством — toute la Chretiente. Понятно, что и в настоящее время сознание о политическом целом, именуемом Европою, точно также является результатом сознания существования чего-то ей политически противоположного, а это противоположное, эта Анти-Европа, и есть Россия и представляемый ею Славянский мир. Европа терпела все иллегальности, сопровождавшие создание итальянского и германского единства, потому что были внутренние явления, только несколько усиливавшая одни и несколько ослаблявшие другие ее элементы, — явления, которые поэтому могли возбудить лишь частное противодействие отдельных государств. Англия овладевает Кипром. Это никому не может быть приятным, для некоторых довольно безразлично, для других, как для Франции и Италии, крайне невыгодно, даже оскорбительно; но это не возбуждает противоречия и борьбы, потому что сообразно с интересами целого, т.е. Европы в виду ее антагонизма с Россией. Действие это, иллегальное по форме, дерзкое по выбранному для него времени, однако же допускается без протеста, потому что оно направлено против общего врага — России. Хищническое овладение островом, с явною целью воспользоваться им для захвата всего азиатского наследия Турции, имеет одно свойство, которое искупает всю неправду его даже в глазах ближайшим образом заинтересованных в этом деле государств — это есть акт враждебный России. Этого довольно, чтобы освятить это насилие в глазах Европы. Это ли еще не доказательство существования Европы, как политического целого, когда не что иное как именно интересы этого целого заставляют замолкнуть интересы отдельных государств, чувствительным образом нарушенные? Явное нарушение равновесия на Средиземном море получает название охраны этого равновесия. Европа, как целое, торжествует здесь над отдельными интересами Франции и Италии. Такие положительные и незастенчивые деятели, как английские государственные люди,- конечно, пользуются общеевропейским направлением для достижения своих частных целей и, конечно, все это видят, но тем не менее прощают это отважному бойцу за его общеевропейское дело. Свобода проливов считается общеевропейским интересом, только под влиянием опасения, что иначе они перейдут под власть России; но пусть свобода эта будет нарушена Англией, пусть займет она Тенедос или даже сами Дарданелльские замки, как, по слухам, он обнаруживает к тому поползновения — никто против этого и не пикнет.

Что же такое Европа в политическом смысле? Это есть совокупность европейских государств, сознающих себя как одно целое, интересы которого противоположны интересам России и Славянства. Иного значения и смысла, кроме этой постоянной враждебности к нам, политическая Европа, конечно, не имеет. Со стороны Европы этот антагонизм есть не только факт существующий, но и факт ясно и отчетливо сознаваемый; со стороны же России, и Славянства он не более как факт существующий, но, к сожалению, еще недошедший до их сознания.

Если настоящая война, все ее жертвы, все горе нами перенесенное, все ошибки нами сделанные, все криводушие наших противников и союзников, все оскорбления нами претерпенные — будут иметь своим результатом, что факт этот достигнет наконец до нашего сознания, станет нашим политическим догматом, то, несмотря на всю горечь испитой нами чаши, мы не напрасно воевали, не напрасно тратили достояние и кровь России. Такой результат был бы драгоценнее всяких материальных приобретений, всякого видимого успеха, даже такого как овладение проливами и водружение креста на куполе святой Софии.

Отыскивая основную причину нашей политической неудачи, после блистательнейших военных успехов, мы нашли ее в направлении нашей политики в течение всего XIX столетия, которая, несмотря на кажущийся блеск некоторых эпизодов нашей новейшей истории, была в сущности одною огромною неудачей и которая, после не только блистательной, но и плодотворной внешней государственной деятельности XVIII столетия, завершилась на наших глазах подчинением почти всех турецких земель, как освобожденных, так и не освобожденных, как в Европе, так и в Азии, преобладающему влиянию наших отъявленнейших врагов — Англии и Австрии. Чтобы еще более убедиться в этом, стоит только взвесить, с одной стороны, результаты политики России в XIX веке, сравнительно с результатами, достигнутыми политикою других государств; с другой же — сравнить результаты нашей внешней политики в XIX и в XVIII веках.

Об Англии собственно нечего и говорить. Вся ее история в течении XIX века есть ряд непрерывных торжеств. Она победила всех врагов своих не собственными силами, а искусством заставлять, как друзей, так и врагов своих, работать для достижения ее целей и тем утвердила свое владычество во всех частях света. Австрия и Пруссия грызлись за нее против Наполеона и довели себя до гибели, от которой избавились лишь благодаря России, которая также почти непрерывно, в течение 15-ти лет, враждовала, преимущественно из-за английских интересов, с Наполеоновскою Францией, единственным государством, предлагавшим ей свою искреннюю, на обоюдных выгодах основанную и делами, а не словами доказанную дружбу. Подобным же образом умела Англия заставить наследника великого Наполеона способствовать ее планам против России, с которою она вступила во враждебные отношения тотчас после поражения, преимущественно руками России же, великого Императора. Собственные силы Англии ничтожны и все более и более уменьшаются, по мере того, как умаляется значение флотов в решении великих международных распрей. Ее могущество и сила — один призрак, и если, не взирая на это, успехи ее столь поразительны, то это доказывает, что миром политическим управляет не столько самая сущность вещей, сколько те, большею частью неверные и предрассудочные понятия, которые люди составляют себе о ней. Чтобы победить Англию, надо только иметь смелость посмотреть на вещи прямыми глазами, отрешиться от предрассудков, давно уже потерявших всякий смысл. Но, каковы бы ни были силы Англии, она никогда не употребляла их иначе, как в свою собственную пользу; никогда не вела войн в чьих-либо чужих интересах; никогда не задумывалась бросить ли союзника, если уже выжала из него всю пользу, которую он мог ей доставить; никогда не упускала случая воспользоваться расположением политических созвездий. Одним словом, политика ее была прямою противоположностью политике русской — в чем и заключается вся ее сила.

Пруссия, из маленького государства, спасенного от конечной гибели Россиею, освобожденного ее помощью из подчиненного, вассального положения, — собственным искусством, неутомимыми трудами, направленными к никогда не упускаемой из вида цели, но все-таки при прямом содействии России, возвысила себя до значения первой европейской державы. В политике ее встречаются ложные шаги, несообразные с ее действительными силами, как в 1806 году; в ней были моменты слабости, как в 1848 г.; но все же Пруссия постоянно имела в виду не посторонние и чуждые ей, а свои собственные чисто прусские цели; прусскую окраску сумела она дать и общегерманским стремлениям. Нечего и упоминать, что все 8 войн, веденных Пруссией в XIX столетии, из коих было 6 удачных и 2 неудачных, имели в виду лишь прусские, а также и германские интересы, которые она слила с прусскими, — и ничего кроме них. При этом, сознав раз историческую законность и справедливость своих целей, она не останавливалась перед нарушением дипломатической легальности, хотя стоявшие на пути ее преграды были не чета Парижскоу трактату. Ее не устрашили ни Лондонский договор, гарантировавший целость и неприкосновенность Датской монархии; ни еще более торжественный, всеевропейский акт Венского конгресса, установивший Германский союз; ни права независимых германских государей Ганновера, Гессен-Касселя и Нассау; ни права вольного города Франкфурта.

Еще блистательнее — успех, увенчавший политику законного национально-исторического эгоизма Италии, или, точнее сказать, ничтожного, третьестепенного Сардинского королевства, преобразовавшегося в первостепенное государство.

Австрия, конечно, не могла преследовать национальных целей в своей политике, ибо самое бытие ее есть отрицание идеи национальности. Но за то австрийская политика постоянно преследовала свои династические цели, которые, по необходимости, заменяют для нее цели национальные. После крушения Меттерниховой системы, Австрия приняла политику более рискованную и потерпела сильные неудачи; но в настоящее время она вознаграждает их за счет России и Славянства, постоянно ею оскорбляемых, и поприще своих интриг переместила с Апеннинского на Балканский полуостров. Войны ее были большею частью неудачны — именно пять из девяти, веденных ею в течении XIX века; а между удачными была лишь война против Дании — основанная на ложном расчете; но тем не менее, все ее войны и все ее союзы имели постоянно в виду лишь Габсбургские династические интересы. Результаты этой политики были далеко не столь блистательны, как результаты политики английской, прусской и итальянской, и значение Австрии, сравнительно с началом столетия, в особенности же в сравнении с временем, последовавшим за 1815 годом, потерпело значительный ущерб. Но, если мы примем во внимание ничтожность внутренних сил Австрии, столь справедливо оцененных графом Дерби, антагонизм составляющих ее элементов, наконец, самое ее географическое положение, по которому она окружена со всех сторон сознательными или бессознательными врагами, — то нельзя не удивляться достигнутым ею результатам. Подобно аббату Сиэсу[[20]](#note20), проведшему бурное время конвента, не попав на эшафот, она может с гордостью отвечать на вопрос: что делала она в течении трех четвертей столетия? — j'ai vecu[[21]](#note21). Этим сохранением своего существования обязана она все той же политике, постоянно преследующей свои, а не чужие цели, которая так возвысила Англию, Пруссию и Италию.

Если политическое положение четырех рассмотренных нами государств усилилось, или, по крайней мере, осталось приблизительно на той же точке, как и в начале столетия, то нельзя того же сказать про Францию. В настоящее время ее положение, очевидно, менее благоприятно, не только чем в блистательные дни обоих Наполеонов, но и чем во времена Луи-Филиппа. Оно, в течение всего столетия, беспрестанно колебалось, то возвышаясь, то опускаясь. Но сообразно с этим и французская политика отличалась непостоянством направления. Она не преследовала одной национальном цели, а часто служила орудием для чуждых и посторонних ей целей, различаясь однако тем от политики России, что эти уклонения не носили на себе систематического характера, а были последствием увлечения то одним, то другим политическим предрассудком. Замечательно, что судьба Франции, главнейшим образом, зависела от ее отношений к России. В начале — вина их враждебных отношений, столько повредивших обеим, падает вполне на Россию; с половины же столетия — исключительно на Францию. Между тем как Англия, Австрия даже Германия, сверх общеевропейских причин вражды к России, имеют каждые свои особые побудительные причины к этой враждебности, — Франция этого последнего рода причин не имеет. Поэтому Наполеон I, которого судьба поставила в антагонизм с Европой и который следовал чисто французской политике, всегда искал союза с Россией. Вот почему также, враждебность к России, приносящая другим непосредственные выгоды, — Франции всегда вредила не менее, чем России.

Положение России в начале столетия, после столь блистательной и успешной национальной политики Екатерины, было самое благоприятное. Все наперебой искали ее дружбы, и она была истинною решительницею судьбе Европы. Мы уже говорили, в какую сторону должно было бы направить ее ясное понимание своих целей и интересов. Чего бы не могла она достигнуть, следуя этому пути? Играя вторую роль при Наполеоне, она неизбежно заняла бы первую после его смерти, когда неминуемо должна была разгореться война между порабощенною Европой и поработившею ее Францией. Руки России были бы развязаны. Константинополь и пролив легко сделались бы ее достоянием. Но она избрала ложный путь, употребляя свои материальные и нравственные силы, собранные Екатериной, в интересах своих прирожденных противников, которые не могли обратиться в друзей, несмотря на личное расположение людей, заправлявших их политикою. Но, тем не менее, значение этих сил, независимо от их правильного или неправильного употребления, что могло обнаружиться лишь впоследствии, давало ей неоспоримое первенство в Европе. Но первенство это было только видимое, кажущееся. Силы европейских государств, Англии, Пруссии и Австрии, были употребляемы для достижения их собственных целей. Силы России содействовали им в этом, а собственные ее цели были пренебрежены, забыты. Поэтому, весьма естественно, что первенство России могло сохраниться только до тех пор, пока она довольствовалась внешностью, формою, продолжая напрягать свои силы и употреблять свое влияние все для тех же чуждых ей целей, как это было в эпоху конгрессов, в первые годы греческого восстания, даже в 1828 и 1829 годах, когда она, ради этих целей и интересов, почти не воспользовалась плодами своих побед; наконец, в 1849 г., когда она спасла Австрию, и в 1851, когда она своим словом разняла, готовых броситься друг на друга, своих союзников. Но, как только Россия захотела употребить в свою пользу этот союз, который поддерживала с такими жертвами, не требуя, впрочем, ничего кроме честного и дружественного нейтралитета, — союз рушится. Рушится и преобладание России, из которого она, во все время его существования, не извлекла для себя ни малейшей пользы, — и переходит к Франции, и тоже не на пользу, а от нее, опять-таки при содействии России, к Германии.

Последняя победоносная война ставит Россию, вследствие все того же политического направления, в положение во многих отношениях худшее, чем Парижский мир. Это не фраза, внушенная разочарованием от неосуществившихся надежд, — а горькая действительность, доказываемая сравнением тех уступок, которые сделала Россия на Парижском и на Берлинском конгрессах.

Территориальные уступки 1856 года ограничивались клочком Бессарабии, весьма важная часть которой нам и теперь не возвращается, а возвращаемая теряет всякое значение вследствии перехода Добруджи и части Болгарии к враждебной нам Румынии. Теперь же уступлена нами вся забалканская Болгария, урезана Черногория, возвращены Баязед и Алашкертская долина. Все эти земли ведь принадлежали нам, или нашим друзьям и союзникам, хотя бы и короткое время.

В 1856 году мы должны были отказаться от протектората над Сербией, Молдавией и Валахией. Уступка неважная, чисто формальная, которая только избавляла Россию от обязанности наблюдать за славянским движением в Сербии, и дала возможность помогать и содействовать ему. Отказ от протектората не помешал однако проходу русских войск через Румынию. Притом протекторат этот заменялся чисто номинальным протекторатом Европы, который нисколько не увеличивал ее деятельного влияния в ущерб России. Теперь же Румыния поставлена в прямой антагонизм с Россией; Черногория отдана под полицейский надзор Австрии; Черногория и Сербия поставлены в торговую от Австрии зависимость, за которою, по естественному ходу вещей, не замедлит последовать и зависимость политическая; целые две славянские провинции приобретаются Австрией, из рук которой их гораздо труднее будет вырвать, чем из рук разливающейся Турции. Одним словом, значение и влияние России на Западе Балканского полуострова бесспорно уменьшилось сравнительно с порядком вещей, установленным Парижским трактатом. Значение же Австрии возросло в огромных размерах, ибо сопротивлением, встреченным австрийцами при занятии Боснии и Герцеговины, нечего увлекаться. Оно уже сломлено и послужит еще предлогом к окончательному утверждению австрийской власти в этих местах. То же придется сказать и о значении и влиянии России, сравнительно с значением и влиянием Англии, к югу от Балкан. Сверх этого, вся Азиатская Турция поступает под протекторат Англии. Европе казалось нестерпимым, что, по Кучук-Кайнарджискому трактату, Россия имела право вмешательства в пользу христианских подданных Турции; теперь же это вмешательство по всем отраслям управления передается Англии, к ее величайшему удовольствию. По Парижскому трактату, Черное море было объявлено нейтральным, ни чьи военные флоты не должны были на нем появляться; а теперь появление английского флота будет зависеть от произвола султана, а произвол султана — от приказаний Англии. Россия не должна была иметь приморских крепостей на Черном море. Насколько этот пункт касался национального достоинства России, настолько и теперь хотя и в более вежливой форме, Батум составит такую же неполную собственность России, как прежде Севастополь и другие прибрежные пункты, "ради некоторого обеспечения свободы Черного моря", как изволил выразиться Салисбюри в парламенте. Сверх всего этого нам угрожает еще занятие Англией Тенедоса, если даже и не самих Дарданеллских замков.

Но, может быть, эти невыгоды уравновешиваются приобретениями, сделанными Россией: основанием вассального Болгарского княжества до Балкан, приобретениями в Малой Азии, возвращением клочка Бессарабии? Но Болгарский народ едва ли может быть доволен этою полумерой, которою, отделенные от него братья преданы эллинизации, румынизации и, только формально ограниченному, произволу турок. Всякий по себе знает, что обманутая надежда оставляет более горечи в сердце, чем неосуществленное желание. Как Болгары, так и прочие Славяне будут видеть в своей неудаче — бессилие России и будут обращаться за помощью уже не к ее силе, а к благорасположению Европы, что, впрочем, им и рекомендуется; и это благорасположение будет даваться им по мере их отчуждения от России. Поклонись мне — и все блага земные будут принадлежать тебе — будет им обещано. Многие ли устоят против такого искушения? Единственная горькая надежда, на которую мы еще можем положиться, основана, как я уже говорил, на том, что ненависть к Славянству переселит политический расчет. Что касается до Малой Азии, то очевидно, что сравнительно неважные приобретения, там сделанные, не уравновешивают перехода всего остального в более или менее замаскированное распоряжение Англии. Клочок же Бессарабии с избытком оплачивается враждебностью Румынии, значение которой усиливается распространением ее территории на правый берег Дуная.

Но оставим частности и взглянем на общее положение России в восточных делах. Политика России, по отношению к Турции, очевидно, может быть двояка: 1). Или Турция должна оставаться достаточно сильною, для охранения своей самостоятельности. В этом случае решение вопроса, интересующего Россию, предоставляется будущему, причем шансы этого решения в пользу или во вред России остаются неизвестными, и задача ее — наклонить их сообразно своим выгодам — остается открытою. Турция может, конечно, подпасть в этом случае более или менее сильному влиянию враждебных России государств, как перед Крымскою войною; но может также подчиниться влиянию России, как во время Хункиар-Скелесского договора, или перед свержением Абдул-Азиса. Проливы, составляющие настоящий узел вопроса, с политической точки зрения остаются во власти самостоятельного государства, ревниво охраняющего свою самостоятельность, в чем для России не заключается ни оскорбления, ни непосредственной опасности. С этой точки зрения смотрела Россия на вопрос при заключении Арианопольского мира; она же имелась в виду и в Парижском трактате. 2). Или Россия должна ослабить Турцию до лишения ее всякого самостоятельного значения. Была ли такая политика своевременна или нет, но самый смысл войны за освобождение Болгар не допускал уже иного решения, а наш военный успех его оправдывал. Но в таком случае, ослабленная Турция должна была подпасть под полную и исключительную зависимость от России. Очевидно, что именно эта цель имелась в виду при заключении Сан-Стефанского договора, что только она одна и согласовалась с интересами России, ибо в противном случае Турция неминуемо подпадала под зависимость отъявленных врагов и противников России — Англии и Австрии. Никакой середины тут быть не могло. Наступил кризис, и исход получился самый неблагоприятный.

Турецкая часть Восточного вопроса, не менее чем вопрос Польский, составляет узел внешней политики России со времен Петра. Все, что во внешней деятельности России не имело в виду их правильного решения, было отклонением от настоящей ее цели. Следовательно, неблагоприятное для России разрешение восточного кризиса не может считаться неудачею второстепенною, несущественною, а затрагивает самую сущность международного положения России. Но, с другой стороны, и причиною этой неудачи, как мы старались показать, были также не случайные, личные, или временные ошибки, а общее направление политики, которой Россия следовала почти неизменно в течение последних восьмидесяти лет. Следовательно, мы не можем не признать, что, в сущности, с самого начала столетия, действительное политическое значение России не возвышалось, несмотря на огромное усиление ее внутренних сил и средств, превосходящее усиление всех прочих европейских государств, — а постепенно падало, уклонившись от Екатерининских путей, не взирая на то, что упадок этот прикрывался, в течении почти 40 лет, от 1815 по 1853 год, блистательною маскою политического преобладания.

К такому же результату приводит нас сравнение результатов русской политики в течении XVII и XIX столетий.

В течении XIX столетия Россия вела 12 внешних войн с европейскими государствами, из коих семь были предприняты, как мы это показали выше, в интересах ей совершенно чуждых и даже враждебных. Само собою разумеется, что такое бесплодное напряжение сил не могло привести к благоприятным последствиям. Наружным, видимым выражением этой политики было то, что приобретения России в это время ограничились лишь одним Царством Польским, настоящим ящиком Пандоры, приведшим Россию уже к двукратной внутренней войне и к усилению польского элемента в западных губерниях. Без этого пагубного приобретения, центр Польских волнений находился бы в Пруссии, или Австрии, а западные губернии продолжали бы русеть, как во времена Екатерины.

Правда, что в XIX же столетии были присоединены к России Финляндия и Бессарабия, но первое присоединение было сделано в тот короткий период, во время которого Россия действовала в Екатерининском духе, отбросив было заботы о Европе, и соединилась с тем, кто считался общеевропейским врагом. Что же касается до Бессарабии, то, по ходу войны 1806-1812 года, от которой нас беспрестанно отвлекали европейские соображения, можно утверждать, что, собственно говоря, мы не Бессарабию приобрели, а упустили приобретение Молдавии и Валахии.

В XVIII столетии Россия вела 11 войн, которые все, за исключением нашего участия в Семилетней[[22]](#note22), были ведены в прямом и непосредственном интересе России; да и про Семилетнюю войну можно сказать, что то была лишь случайная ошибка, война, предпринятая без достаточных оснований, без ясно осознанной цели, но все-таки не война, веденная в чужих интересах. Зато и результаты этой Петровской и Екатерининской политики были совершенно иные, чем в XIX столетии. Они заключались в присоединении в Европе 17 губерний и областей, с пространством в 15,000 кв. м. и с населением в 18.000.000, доставивших России прибрежья трех морей; в воссоединении с нею ее исконного достояния; в возведении ее на такую ступень могущества, что, к началу нового столетия, Россия сделалась решительницею судеб Европы, и могла употребить приобретенную ею силу и счастливое политическое положение для вознесения себя на миродержавную высоту, вместо чего она предпочла принести себя в жертву ложному политическому идеалу, причислив себя — не формально только, а всем сердцем и всею душой — к европейской политической системе государств.

Нам можно возразить, что, если приобретения России в XIX столетии, на западной нашей границе, далеко уступают, по их обширности, населенности и политическому значению, приобретениям XVIII века, то причину этого можно найти в том, что всякому приобретению должен же ведь наступить конец и что в XVIII столетии все существенное в этом отношении было сделано, так что XIX-му ничего более делать не оставалось.

Многие, действительно, это утверждают, говоря, что Россия и без того уже слишком велика, и поют известную песнь на тему излишней обширности России. Но на рост государства нет определенной мерки. Нельзя сказать, что государство слишком велико, потому что заключает в себе столько-то и столько квадратных миль. Можно лишь сказать, что оно довольно велико, если собрало под свою руку весь свой народ, если получило границы, которые дают ей внутреннюю безопасность и полную свободу действий. Но ни первого, ни второго Россия еще не достигла, следовательно, ей осталось еще кое-что приобрести и в XIX столетии. Еще около четырех миллионов русского народа находится в подданстве иностранного государства, — народа, населяющего область, составлявшую некогда достояние России. Но скажут, что и другие великие народы также не собрали всех соплеменников своих в одно государственное целое, что есть англичане вне Англии, французы вне Франции, немцы вне Германии и итальянцы вне Италии. Но в каком положении эти англичане, французы, немцы и итальянцы? Про англичан собственно говорить нечего. Единственные англичане вне английских владений — граждане Соединенных Штатов, отделившиеся сами от притеснявшей их метрополии, положившие начало новой национальности и не имеющие ни малейшего желания возвратиться в британское лоно. Но и прочие перечисленные народности, в огромном большинстве случаев, составляют или господствующий элемент в независимых государствах, или, по крайней мере, пользуются полною национальною независимостью и равноправностью с господствующим племенем, так что едва ли имеют желание променять свое господствующее, привилегированное или, по меньшей мере, независимое и равноправное положение на присоединение к своему главному национальному центру. Так, французы Бельгии образуют не только независимое извне и свободное внутри Бельгийское государство, но и господствуют в нем над элементом фламандским, ибо официальный язык политики, суда, администрации, язык науки, литературы и общественной жизни в Бельгии — французский. Также точно и французы Женевы, Невшателя и некоторых других швейцарских кантонов пользуются полною национальною и гражданскою свободою. Сказанное о бельгийских французах вполне относится и к австрийским немцам, семь или восемь миллионов которых, совокупно с четырьмя миллионами мадьяр, господствуют над 25 миллионами своих австрийских, ненемецких и немадьярских, сограждан. Но немцы Германии не успокоились, пока не притянули к себе немцев Гольштейна и Шлезвига, которые не имели преобладающего значения в датском государстве, хотя и пользовались всею полнотою гражданских и политических прав наравне с настоящими датчанами. Точно также не успокоились и итальянцы, пока не выручили из неволи своих ломбардских и венецианских братьев; а теперь они явно заявляют свои права не только на действительных итальянцев Тироля, Корсики, Ниццы и Мальты, но даже и на мнимых итальянцев Истрии и Дальмации. Итальянцы Тессино столь же независимы, как и французы Женевы и, вероятно, точно также не желают перемены в своем положении.

Таково ли положение русских в Галиции и в русской Венгрии? Составляют ли они в этих странах племя господствующее, или хотя бы только национально и граждански свободное? Не подчинены ли они невыносимому немецкому, польскому и мадьярскому гнету, и не имеет ли, следовательно, Россия права и обязанности освободить эти четыре миллиона своих соплеменников и возвратить их — этнографическому и историческому отечеству?

Конечно, Россия не имеет подобных прав на Молдавию и Валахию. Но жители этих стран не сочли ли бы, в начале нынешнего столетия, за величайшее благо, за осуществление всех своих стремлений и желаний — присоединение к единоверной России? А с другой стороны, не доставило ли бы это присоединение величайших выгод России, как в экономическом, так и в политическом отношении? Не предотвратило ли бы оно зарождение того антагонизма против всего русского и славянского, которым заразилась, если не масса румынского народа, то румынская интеллигенция, при посредстве развития революционных тенденций 1848 и 1849 годов, галломании князя Кузы[[23]](#note23) и офранцужения языка и литературы? Насколько облегчилась бы занятием твердого положения на Дунае задача освобождения и объединения Славянства? Даже и после 1829 года присоединение это было еще возможно и полезно. Теперь, конечно, обстоятельства переменились. Но, если благоприятные, для присоединения Нижнедунайских областей, обстоятельства невозвратно упущены, то, для сохранения непосредственной связи с Славянством, было необходимо привлечение Румынии на свою сторону, хотя бы это и стоило нам некоторых жертв. Между тем, все было сделано для ее отчуждения.

Наконец, в завершение Екатерининских приобретений, нам необходимо было обратить Черное море, — единственное из всех морей, омывающих наши берега, которое соединяет условия незамерзания зимою и близости к центру нашего политического могущества, — в нашу полную собственность, с свободным, и притом свободным для нас одних, выходом и входом.

Можно ли, следовательно, сказать, что, после великих присоединений восемнадцатого века, девятнадцатому уже не оставалось делать ничего существенного для достижения Россией полного национального роста и для приобретения ею полной свободы действий, зависящей от обладания морем, омывающим ее южные границы, от свободы выхода из него и входа в него, от возможности заграждения его для всех врагов?

Из этого сравнительного обзора результатов русской политики в XIX столетии, как с результатами, достигнутыми в тоже время политикою главнейших европейских государств, так и с результатами русской политики XVIII века, очевидно, что русская политика и дипломатия не заслуживают тех похвал, которые расточаются ей иностранцами, частью лицемерно, в роде похвал лорда Салисбюри[[24]](#note24), частью от непонимания дела. Русская политика и дипломатия XIX века обязаны своею славою заслугам своих предшественниц — политике и дипломатии XVIII столетия, в особенности славного Екатерининского времени, а также тому недоверию, которое внушало ее, к сожалению слишком искреннее, бескорыстие и готовность жертвовать собою. Иностранцы не могли себе вообразить, что мы так легко отказались от своих славных политических преданий и так легко перешли от школы Екатерины к школе Меттерниха, весьма сообразной с австрийскими, но ни как не с русскими интересами, к учению о сохранении европейского равновесия и европейской солидарности. Они, поэтому, видели необыкновенную тонкость и ловкость там, где ничего подобного не было. Во время Крымской войны ходил рассказ, что английский корабль, будто бы, вошел в один из проходов между укрепленными островами Свеаборга, которым мог проникнуть до гельсингфорского рейда. Корабль осторожно подвигается, но в него не стреляют из предполагавшихся грозных орудий. Наконец, он останавливается и поворачивает назад, предполагая военную хитрость, засаду, которая должна обратить его в щепки, если он пойдет дальше. На деле же оказалось, что проход вовсе не был вооружен. Весьма вероятно, что это только анекдот; но, в применении к репутации нашей политики и дипломатии XIX века, он представляет верную ее эмблему. Но этот отвод глаз, эта фантасмагория едва ли еще может продлиться. После Берлинского конгресса и обстоятельств, к нему приведших, глаза у всех открылись, и положение России становится до крайности опасным.

Наша последняя цепь неудач есть только кульминационный пункт того политического направления, которому следовала Россия, почти без перерыва, в течение последних 80 лет; она потому только кажется столь поразительною, что прежде мы жертвовали в пользу других своими средствами, своими силами как-бы от избытка их, и результаты этих жертв часто маскировались блистательною внешностью, а истинное значение их проявлялось лишь по истечении долгого времени, когда уже скрывались от непосредственного наблюдения причины, их произведшие. Теперь нам пришлось пожертвовать самою нашею победою и в самый момент этой победы, так что сомнение в причине, приведшей к этой неудаче, совершенно невозможно.

Можно смело предсказать, что подобные же и еще большие неудачи ожидают Россию в будущем, если политика ее будет продолжать следовать тому же пути, которым шла, с редкими и немногими исключениями, с самой смерти великой Императрицы.

Чтобы избежать плачевной участи перехода от неудачи к неудаче, несмотря даже на самые поразительные военные успехи, политике России ничего не остается, как повернуть на старый Екатерининский путь, то-есть открыто, прямо и бесповоротно сознать себя русскою политикой, а не европейскою, и притом исключительно русскою, без всякой примеси, а не какою-нибудь двойственною, русско-европейскою или европейско-рус-скою, ибо противоположности не совместимы. Пословица справедливо говорит: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь; во сколько же раз она справедливее, если догоняемые зайцы бегут в диаметрально противоположные стороны! Мы не догоним ни одного зайца: не достигнем русских целей и не приобретем расположения Европы, враждебность которой все усиливается, по мере оказываемых нами ей услуг, уступок и приносимых нами жертв.

Интересы России и Европы противоположны, — говорим мы. Что эта противоположность не выдумка, не изобретение панславистов, славянофилов, или вообще журнальных публицистов и теоретиков, какой бы то ни было партии, а факт общепризнанный самыми трезвыми и практическими политическими умами, — свидетельствуют нам всего лучше и прямее самые протоколы Берлинского конгресса. Читая эти документы, мы постоянно встречаем, что, как представители России, так и представители других держав беспрестанно противополагают интересы России — интересам Европы. Одни требуют во имя этих последних — уступок со стороны России, другие соглашаются на них именно в виду этой причины. Следовательно, эта противоположность интересов до того присуща представлению государственных людей всех наций, что они инстинктивно, как бы против своей воли, несмотря на всю дипломатическую осторожность, употребляют выражения, соответствующие действительности и прямо противоположные той видимости, которую, конечно, желали бы ей придать: представители европейских государств для того, чтобы и впредь было им удобнее пользоваться тем обманом, в который добровольно вдается Россия; представители же России для того, чтобы не выставить на вид всей несостоятельности того политического направления, которое приносит интересы России в жертву интересам Европы. В другом, также официальном документе, мы читаем: «То, что совершается на наших глазах теперь, сопровождало, впрочем, и все прежние наши войны на Востоке. Несмотря на все наши успехи, мы никогда не могли разрешить задачу коренным образом. Нам всегда приходилось останавливаться пред непреоборимыми трудностями задачи, пред сплоченною стеной интересов и страстей, которые вызывались нашими успехами»[[\*3]](#note_3). С таким объяснением неполноты результатов наших многократных турецких войн нельзя вполне согласиться. Так, в первую Екатерининскую войну, сплоченная стена интересов и страстей нам враждебных не считала для себя удобным сопротивляться силою намерениям России; чтобы отклонить ее от исполнения их, ей представили, по почину прусского короля, обязавшегося помогать России в случае войны с Австрией, такую богатую перспективу интересов, еще ближе касавшихся достижения русских целей, чем сами турецкие дела, что Екатерина не могла не предпочесть ее, тем более, что бесконечно важное для России возвращение ее исконных западных областей от Польши доставалось почти без усилий. Всякий откажется от меньшего и трудного, когда ему предлагают взамен большее и легкое. Во вторую турецкую войну сплоченная стена была очень слаба, как потому, что главный враг наш на Востоке, Австрии, под правлением эксцентрического Иосифа II, была на нашей стороне, так и потому, что под влиянием поспевшей разгореться французской революции, сопротивление Англии и Пруссии не обещало быть очень сильным. Истинная причина недостаточности результатов этой войны была не политическая, а военная. Она заключалась в дурном ведении войны, которое было поручено мало способному в военном отношении Потемкину в то время, когда гений Суворова уже успел показаться во всем блеске. В войне с 1806 по 1812 год такой стены вовсе уже не было. Она была сломлена Наполеоном, и от нас зависело довести войну до самых желательных результатов; но мы сами предпочли заботы о благоденствии Европы — разрешению наших исторических задач. Только относительно войн 1828-1829 и 1853-1856 годов слова приведенной нами выписки вполне справедливы. Относительно только-что окончившейся воины, по нашему мнению, стена эта также была уже сломлена подвигами наших войск — и восстановлена ошибочными действиями дипломатии, под влиянием тех же забот о Европе, как и в войне с 1806 по 1812 год. Но, как бы то там ни было, в приведенных нами словах официального документа самым ясным образом выражена мысль о противоположности интересов России и Европы. Каким образом помирить с этим совершенно верным и точным пониманием этого факта, несколькими строками выше изложенную, прямо противоположную мысль того же документа, что «солидарность и согласие (с Европою, конечно) суть единственные залоги благополучия и общего мира для всего христианского Востока» — за это мы не беремся.

В чем именно заключается эта, всеми, и нашими, и европейскими государственными людьми признаваемая, противоположность, на это дают нам ответ протоколы того же Берлинского конгресса. Один из представителей России с полною откровенностью выразился так: "Конгресс старался упразднить этнографические границы и заменить их границами торговыми и стратегическими". На эти слова ни с чьей стороны не последовал возражения. Очевидно, что это упразднение этнографических границ не составляет точки зрения, на которой стояла Россия при заключении Сан-Стефанского договора, стремившегося не упразднить, а, напротив того, установить этнографические границы. Если, со всем тем, конгресс выразил противоположное этому стремление, то очевидно, что упразднение этнографических границ, или, другими словами, национального принципа, составляло точку зрения европейских государств (в том числе и Италии, столь громко провозглашающей принцип национальности; вот до чего доводит ослепление, порождаемое ненавистью к России и Славянству!). И Россия должна была уступить, во избежание войны, сделавшейся для нее крайне-невыгодною вследствие положения, в которое она сама себя поставила незанятием проливов и заключением, развязавшего Турции руки, прелиминарного мира, — опять-таки заключенного из-за желания угодить Европе, не нарушить пресловутой солидарности. Если, таким образом, Россию можно упрекнуть в слабости и недальновидности, то на гуманную и свободолибивую Европу прямо падает упрек в злонамеренном и сознательном (а не бессознательном, как на Венском конгрессе, во времена которого принцип национальности еще не выяснился) живосечении народных организмов. Мы не знаем, в похвалу или в осуждение, или как простое формулирование факта, произнес русский уполномоченный свои достопримечательные слова; во всяком случае они составляют краткую, но полную нравственную характеристику деятельности конгресса и ставят печать или клеймо, с которым он перейдет в историю. Но в этой характеристике заключается еще одна черта, ее дополняющая. Этнографический принцип проведения границ если нечто определенное, он показывает не только, где граница должна быть проведена, но и кому должна принадлежать территория по ту и другую сторону; самую же границу составляет, так сказать, математическая линия, сама по себе не имеющая значения. Напротив того, при границе стратегической, наибольшее значение получает именно сама граничная черта, в особенности, когда она идет вдоль горного хребта. Обладание его проходами дает средства не только для обороны, но и для нападения; а стратегический принцип, сам по себе, не дает еще никакого основания для решения вопроса, кому должна принадлежать эта столь существенно важная граничная черта. Очевидно, что конгресс подразумевательно признавал еще добавочный принцип, который нельзя выразить иначе, как словами: «заменить их границами стратегическими, с тем, чтобы проведены они были к выгоде сильного и угнетателя, и во вред слабому и угнетаемому».

Итак, по всеобщему сознанию, открыто выраженному многими, подразумеваемому всеми, — интересы России и Европы, противоположны. Следовательно, для успешной русской политики в будущем ничего другого не остается, как смотреть на свое политическое и историческое положение открытыми глазами, то есть перестать считать Россию членом европейской политической системы, которая постоянно оказывается нам враждебною, лишь только обстоятельства выдвинуть на сцену вопросы, затрагивающие интересы или сочувствия России, не взирая на всю справедливость и все бескорыстие ее целей, — открыто и решительно выпутаться из нее, освободиться от добровольно наложенных на себя пут и цепей, стесняющих свободу наших действий.

Что же значит выступить из европейской политической системы? Прервать все политические сношения с европейскими государствами, вызвать наших посланников из европейских столиц? Или с безумным неистовством, не разбирая ни силы, ни числа врагов, наброситься на Европу? Конечно, нет. Ведь имеем же мы политические сношения и с Вашингтонским, и с Рио-жанейрским, и с Пекинским кабинетами, не считая себя членами, ни южно, ни северо-американской, ни восточно-азиатской политической системы, не чувствуя солидарности ни с внешними, ни с внутренними их делами. Дело идет о сущности направления нашей политики, а не о форме. Выступить из европейской политической системы значит: не принимать к сердцу европейских политических интересов, смотреть на дело как оно есть, и не закрывать глаза перед очевидностью, не принимать созданных себе призраков за действительность; где есть враг — там и видеть врага, а не считать его за друга, прибегая ко всевозможным фикциям, чтобы совершить эту метаморфозу, не на деле, конечно, а в собственном своем воображении. В моей книге: «Россия и Европа» я выразил эту мысль так: «Нам необходимо отрешиться от мысли о какой бы то ни было солидарности с европейскими интересами, о какой бы то ни было связи с тою или другою политическою комбинациею европейских держав — и, прежде всего, приобрести совершенную свободу действия, полную возможность соединиться с каждым европейским государством, под единственным условием, чтобы такой союз был нам выгоден, не взирая на то, какой политический принцип представляет собою в данное время то или другое государство» (стр. 488). Выступить из европейской политической системы значит действовать так, как действуют Англия, Австрия, Германия и в особенности Италия, которая пользовалась всякою комбинациею европейской политики для достижения своих целей. Она шла против России, чтобы заслужить расположение западных держав; она заключила союз с Францией для приобретения Ломбардии; она пользовалась недоумением своего союзника для завоевания Неаполя при помощи революции; она вступила в союз с Пруссией для приобретения Венеции; она завладела, наконец, Римом, употребив в свою пользу отчаянное положение Франции, в ее борьбе с Германией; она, конечно, не усомнится воспользоваться всяким затруднением Австрии, для овладения итальянским Тиролем и Триестом, и всяким затруднением Франции, для возвращения себе Ниццы. Положение России имеет лишь ту особенность, что ни Англия, ни Австрия, ни Германия, ни Италия, достигая своих частных целей, не выступают через это из европейской политической системы, которой они суть естественные и прирожденные члены, потому что общеевропейский интерес, в настоящем фазисе истории, который длится с самого Венского конгресса и продлится еще долго — состоит ни в чем ином, как в противодействии России; для России же твердое и неуклонное стремление к достижению своих целей равнозначительно выступлению ее из европейской политической системы. Продолжая в ней находиться, продолжая сообразовать виды своей политики с видами политики европейских государств, в том, что они имеют общего, мы никогда не достигнем своих целей.

В 1869 году я писал: "Именно так называемые высшие европейские интересы и составляют единственное препятствие к освобождению Славян и Греков и к изгнанию Турок из завоеванного ими Балканского полуострова. Если во время греческого восстания император Александр не послушался своего великодушного свободолюбивого сердца, то единственно потому, что считал необходимым подчинить национальные цели и интересы России — интересам европейского мира и спокойствия, мнимо-высшим целям противодействия революционным стремлениям, снова грозившим обхватить европейское общество, — стремлениям, опасаться которых Россия не имела собственно ни повода, ни оснований" (другими словами, потому, что считал Россию членом европейской политической системы). И далее: "Пока эти и подобные им посторонние России соображения, как, например, забота о сохранении политического равновесия, и т.д., будут иметь влияние на решения России, то само собою разумеется, что нечего и думать об удовлетворительном решении Восточного вопроса, который и в действительности, и в общем сознании Европы, непременно должен нарушить, если не законные ее права и интересы, то, по крайней мере, то понятие, которое она себе составила о своих правах и выгодах". (Заря, 1869,7 стр. 26. Росс, и Евр. стр. 352). Верно ли мы тогда рассуждали, и не сбылись ли наши предсказания от слова до слова с поразительною точностью?

Следовательно, Россия, для достижения своих целей, должна пользоваться всеми ошибками Европы, всяким внутренним раздором ее, всякою надобностью, которую то или другое государство может встретить в помощи России. Есть примеры и в течение XIX столетия, хотя, к несчастью, очень редкие, когда Россия держалась этих правил; есть и другие, несравненно более частые, когда она упускала их из виду и действовала в противоположном смысле.

Так, после Тильзитского мира, Россия, в сущности, выступила из системы европейских государств, вступив, на благо себе, в союзе с ее внутренним врагом. Так поступила она и в 1870 году, объявив, что не считает себя связанною трактатом 1856 года, относительно наложенного на нее запрещения держать флот на Черном море. Но первое выступление ее продолжалось не долее двух лет; второе же было лишь мгновенною вспышкою, потому что Россия испортила свое собственное дело, вступив в переговоры и приняв на себя обязательства Лондонского договора. Вместо того, чтобы добиваться европейского признания, в котором не было никакой надобности, следовало бы немедленно начать строить черноморский флот.

Отрицательными примерами могут служить: нежелание воспользоваться войной 1809 года для возвращения Галиции; все распри с Наполеоном не из-за русских, а из-за чисто европейских интересов, которые привели французов в Москву, а русских в Париж, и то и другое к прямому и непосредственному, или к косвенному и посредственному вреду России. Отрицательные примеры, как не следовало России действовать, представляют также период конгрессов и последующее время до войны 1828-1829 годов; спасение Австрии в 1849; насильственное примирение Австрии и Пруссии в 1851; медленность и нерешительность действий в угоду Европе в 1853 и недопущение Германии начать вторую войну с Францией в 1875.

Выскажем нашу мысль прямо и откровенно. Политика России, чтобы быть успешною, чтобы возвратить себе тот блеск и те плодотворные результаты, которыми она увенчалась во дни великой Императрицы, должна держаться, как постоянного руководящего принципа, русско-славянского эгоизма, в чем и заключается настоящий смысл выступления России из европейской политической системы. Почему не общечеловеческого бескорыстного интереса? — воскликнут наивные политические идиллики. Потому, во-первых, что, строго говоря, никто не знает в чем заключается действительно бескорыстный общечеловеческий интерес. Потому, во-вторых, что, по крайней мере в настоящий период истории, русско-славянский эгоизм совпадает с бескорыстным общечеловеческим интересом. Наконец, в-третьих, потому, что если не действовать в духе русско-славянского эгоизма, то ничего не останется, как действовать в духе антирусско-славянского, англо-австро-европейского эгоизма, как до сих пор мы большею частью и действовали; потому что для политической деятельности России только и открыты эти два пути, нигде не сходящиеся, прямо друг другу противоположные.

Русско-славянский эгоизм совпадает в настоящее время с общечеловеческим бескорыстным интересом! В этом-то и заключается вся наша сила, вся наша надежда на окончательный успех, несмотря на столько раз повторявшиеся неудачи, происходившие не от чего другого, как именно от непонимания этого тождества.

В самом деле, в чем состоят наши русско-славянские эгоистические цели? В освобождении, полном и совершенном, всех Славян, как от ига Турции, так и от ига Австрии, в доставлении им возможности достижения полной политической самостоятельности. Интересы Славянства требуют правда не только свободы, но и единства; но оно явится, как необходимое, силою обстоятельств вынужденное следствие самостоятельности и свободы.

Далее, русско-славянский эгоизм требует достижения Россиею политической полноправности, в которой ей постоянно отказывают, под разными гнилыми предлогами, навязывая ей различные ограничения, повинности, сервитуты, относительно пользования, омывающим ее берега, Черным морем. Мы слышали, например, из уст Салисбюри, что пользование Россией Батумским портом преимущественно для торговых целей в некоторой степени обеспечивает свободу Черного моря, будто бы погибавшую без этого обязательства. То, что Россия в своем море, у своих берегов, отказывается от пользования некоторыми из своих несомненных прав, — называется, на европейско-политическом жаргоне, обеспечением свободы этого моря! Разве такой взгляд совместен с понятием о политической полноправности и верховенстве государства? На нашем политическом языке, и на языке здравого смысла, свободою Черного моря может быть названо только право России (и Турции, конечно, покуда она существует, как независимое государство) вводить в его и выводить из него, как свои торговые, так и свои военные корабли, а также право заграждать в него вход иностранным военным судам.

Как понимается право Славянских народов на независимое политическое существование, видно также из слов того же Салисбюри на европейском ареопаге. "Если значительная часть Боснии и Герцеговины отойдет к одному из соседних княжеств (Сербии или Черногории), то образуется ряд славянских государств, простирающийся через весь Балканский полуостров, военное могущество которых угрожало бы населению других племен, живущих на юге". И подобные нелепости выслушиваются, принимаются во внимание, и даже постановляются сообразные с ними решения; и это получает название высших европейских интересов! Но ведь эти страны, составляют ли они, или не составляют сплошного ряда, населены славянским народом, и следовательно, не взирая на то, живет ли кто и кто именно на юге, имеют полное право составить из себя независимое политическое тело; но ведь и на юге полуострова только меньшинство не принадлежит к славянскому племени; но ведь эти, занимающие север полуострова, славяне никогда ни делом, ни даже словом не выказывали своего намерения не уважать независимости этого неславянского меньшинства, то есть греков. Все это не принимается в расчет. Почему же не высказывалось ни на каком конгрессе подобных опасений против соединения в одно государство с Пруссией — Баварии, Виртемберга, Бадена и проч., под предлогом, что этим образуется сплошной ряд немецких государств, который угрожал бы племенам живущим на юге, хоть в Италии, например, — что в былые времена немцы так часто делали?

Но что говорить о словах, когда мы видим такие дела: Россия, после войны с Турцией, заключает с нею мир, то есть независимое государство вступает в соглашение с государством также независимым, о регуляции своих будущих к нему отношений. Это находят недопустимым с европейской точки зрения. Восточные дела, — говорят, — касаются всей Европы, и нельзя допустить, чтобы одно государство устанавливало их по своему произволу. И в то самое время, когда идут совещания об установлении сообща этих отношений, одно из совещающихся государств — то самое, которое более всех других настаивало на этом общеевропейском воззрении на дела Востока, — само заключает с Турцией такие условия, которые передают в его руки несравненно сильнейшее влияние, чем давал России Сан-Сте-фанский договор. И это явное и дерзкое нарушение общепризнанного принципа, коль скоро оно направлено против России, всеми молча принимается. Даже ничего не возражают и скрывают свое негодование те, интересы которых оно нарушает самым наглым образом. Франция и Италия, вместе с другими восстающие против возможности появления русских флотов в Средиземном море, терпят захваты Англии в этом самом море, потому что главная цель их — противодействие планам России, даже мнимым и воображаемым. Не в праве ли мы после этого усомниться, полноправное ли и равноправное с другими государство — Россия? Будучи третируема столь недостойным образом, может ли она продолжать считать себя членом европейской политической системы? Ни один честный человек не счел бы возможным оставаться на таких условиях членом какого-либо общества. Равноправна ли также славянская народность с другими народностями в глазах Европы? — Установление этой равноправности и полноправности — вот чего требует русско-славянский эгоизм, и чему противится антирусско-славянский, англо-австро-европейский эгоизм. Не совпадает ли первый с требованиями справедливости, а, следовательно, и с требованиями общего интереса человечества, к которому стомиллионное славянское племя ведь также принадлежит?

Если такой бескорыстный и благородный характер носят на себе цели, к которым стремится русско-славянский эгоизм, то и те средства, которые volens-nolens он должен употребить для их достижения, не менее справедливы, не менее сообразны с общечеловеческим интересом, то есть с интересом огромного большинства человеческого рода. Средства эти: во-первых, сокрушение того исполинского хищения, той громадной, неправды, того угнетения, распространяющегося на все народы земли, которые именуются английским всемирным морским владычеством. Мы уже видели, что это морское владычество приводится в сущности к обладанию всеми лучшими частями Азиатского материка и эксплуатации его всеми возможными средствами политическими и торговыми, доходящими до насильственного развращения и отравления такой огромной страны, как Китай. Вспомним, что еще недавно граф Дерби, в речи произнесенной в Английском парламенте, на весь свет громогласно объявил, что англо-индейская империя может сводить концы с концами только при помощи торговли опиумом. Затмение здравого смысла европейничаньем доходит у нас до того, что во время индейского восстания, последовавшего, как известно, через год после окончания неправой и нечестивой Крымской войны, в наших журналах и газетах того времени можно было читать упреки в узком патриотизме за пожелание успеха восставшим индейцам. Говорилось, что общие великие интересы цивилизации заставляют нас сочувствовать восстановлению и утверждению потрясенной британской власти. События не замедлили опровергнуть эту гуманитарную нелепость. На том же дальнем востоке, государство, более замкнутое и отчужденное своими нравами и обычаями, чем Индия, но сохранившее свою полную независимость[[25]](#note25), по собственному почину вступило на путь новой цивилизации и культуры, не будучи к тому побуждаемо никаким чужестранным, будто бы благодетельным гнетом, и пошло по этому пути несравненно успешнее, чем подвластная англичанам Индия, в течение столетнего с лишком британского владычества. Так ли оно, следовательно, необходимо и полезно в интересах общей цивилизации, как думали наши европейцы? Освобожденная Индия разве прекратила бы свои сношения с Европой? Разве с изгнанием англичан, все другие народы, и французы, и голландцы, и немцы, и итальянцы, и северо-американцы и даже те же англичане не основали бы своих факторий и небольших торговых колоний вдоль берегов этой богатейшей страны, не вели бы с ней торговли? А собственная индейская промышленность, некогда столь развитая, не могла бы разве опять возникнуть после свержения либерального британского гнета? Прекратилось бы, конечно, заменившее ее возделывание опиума, что едва ли бы составило потерю для человечества, гуманности, цивилизации и прогресса.

Другое средство, которое должно было употреблено для достижения целей русско-славянского эгоизма, есть сокрушение и упразднение Австрии, о которой ведь тоже плакать некому, кроме пользующихся плодами угнетения и насилия мадьяр и австрийских немцев. Хотя в то время, когда мы так бескорыстно сочувствовали восстановлению британского владычества в Индии, были у нас также поклонники и цивилизаторской миссии австрийского жандарма, которые и теперь еще не совершенно вывелись[[\*4]](#note_4), мы все-таки думаем, что излишне было бы распространяться в доказательствах тому, что человечество могло бы встретить без особенного сожаления известие о кончине Австрии, и что русско-славянский эгоизм, совершив это ужасное дело, не нарушил бы бескорыстного общечеловеческого интереса.

Упомянем еще, для счета, и о третьем средстве, необходимом для достижения целей русско-славянского эгоизма — об окончательном уничтожении турецкого владычества на Балканском полуострове, не сопровождая его никакими оправдательными комментариями.

В заключение, мы спросим: не совпадает ли русско-славянский эгоизм, как по целям, так и по средствам своим, с требованиями бескорыстного общечеловеческого интереса, насколько он нам известен и подлежит человеческому пониманию? Потому-то мы и думаем, что судьбы России лежат в самом русле исторического потока, предполагая, что поток этот направляется к разумным, справедливым и благим целям; поэтому мы и утверждаем, что положение России есть единственное в своем роде, не имевшее и не имеющее себе ничего подобного. Ее величие, ее миродержавное значение требует не завоеваний чужого, не угнетения народностей, не присоединения земель, по праву другим принадлежащих, — а освобождения угнетенных, восстановления попранных, сокрушения насилия и неправды, какими бы титулами они не величались.  А интересы Европы, как она сама их хочет понимать и понимает на деле, не прямо ли этому противоположны? То, что мы назвали антирусско-славянским, англо-австро-европейским эгоизмом, не есть ли вместе с тем эгоизм, действительно противоречащий общечеловеческому интересу?

России и Славянству нужно освобождение Болгарии в границах болгарской народности. Европе нужно продолжение господства батакских извергов, укрепление его возвращением Балканских проходов Турции.

России и Славянству нужно полное освобождение Сербского народа. Европе нужно отрезать друг от друга две родственных части одного и того же племени: Сербию и Черногорию, вбив между ними австрийский клин. Ей нужно искупить полуосвобождение третьей доли болгарского народа подчинением австрийскому гнету другого столь же многострадального славянского племени; ей нужна отрезка 120-ти квадратных миль отвоеванных геройскою Черногорией, отдание под австрийский полицейский надзор, по возможности урезанного, черногорского морского прибрежья.

России и Славянству нужно присоединение к Греции — Офссалии, Эпира, действительно греческой части Македонии, многострадального Крита, островов Архипелага. Европе нужно раздуть эллинское тщеславие и властолюбие, возбудить этим греков против славян, склонить их на свою сторону, а затем обмануть их в их действительно законных и справедливых желаниях.

России и Славянству нужна действительная независимость и полноправность вновь освобожденных государств: Румынии, Сербии и Черногории. Европе нужно, за невозможностью отнять у них независимость политическую, лишить их, по крайней мере, независимости экономической и торговой, запрещением взимать транзитные пошлины, ей нужна эксплуатации их евреями, под лицемерным предлогом охранения религиозной свободы.

России и Славянству нужно право России на свободный вход и выход в Черное и из Черного моря, две трети берегов которого ей принадлежат. Европе нужно наложение на Россию разного рода постыдных сервитутов, ради охранения британского хищничества, которому она даже и не угрожала, — под лицемерным и кощунственным названием охранения свободы Черного моря.

России нужно справедливое и самое умеренное вознаграждение за принесенные ею жертвы Европе нужно лишить ее этого вознаграждения и вместе с тем оскорбить, оказав предпочтение претензиям всякого европейского жида, всякого лондонского или парижского лавочника, доставляющих своими сбережениями средства для расточительности султана и пашей, для разврата их гаремов, для угнетения и мученичества балканских христиан[[\*5]](#note_5).

В моей книге «Россия и Европа» я говорил об отношениях России к Турции и к Европе после Крымской войны: «Магометанско-турецкий эпизод в развитии Восточного вопроса окончился. Туман рассеялся и противники стали лицом к лицу, в ожидании грозных событий, страх перед которыми заставляет отступать обе стороны доколе возможно, откладывать неизбежную борьбу на сколько Бог попустит. Отныне война между Россией и Турцией сделалась невозможною и бесполезною; возможна и необходима борьба Славянства с Европой, — борьба, которая решится, конечно, не в один год, не в одну компанию, а займет собою целый исторический период». Оправдались ли мои слова? Сбылось ли это предсказание подобно многим другим? По-видимому, только отчасти; но если вникнуть в сущность дела, то оно сбылось вполне. В заключение настоящей статьи я приму на себя труд доказать это, не из тщеславного желания оправдать мою проницательность, а потому, что это дает мне, так по крайней мере мне кажется, самый удобный случай вполне выяснить настоящий характер только-что совершившегося, огромной важности, исторического события, и дает возможность представить мои соображения о будущем.

Что война между Россией и Турцией оказалась бесполезною и со многих сторон даже вредною, с этим, я думаю, спорить не станут. Но я считал ее невозможною, а, между тем, она велась с большими усилиями в течении 9~ти месяцев; напротив того, борьбы с Европой, которую мы считали необходимою и единственно возможною, не произошло. Хотя факты эти и бесспорны, но мы утверждаем однако же, что это лишь одна видимость, один мираж, обман чувств; в действительности, мы, под личиной войны с Турцией, вели войну с Европой, по крайней мере с Англией и Австрией, не без союза их, впрочем, и с прочими европейскими государствами, и мы были побеждены в этой войне, опять-таки под маской победы над Турцией. Эти личины, эти маски надели на себя наши враги с сознательною и определенною целью; а мы не только не решились сорвать их, но даже с радостью надели их на себя и добровольно пошли на обман, что и было настоящею причиной нашей неудачи. Оставить эту маску на других, признать ее за настоящее лицо и надеть таковую же на себя заставил нас не один страх перед грозными событиями, а главным образом страх отступить от политических и дипломатических традиций, страх не нарушить европейских интересов, сделавшихся в XIX столетии столь дорогими русскому сердцу, и притом не одному только дипломатическому. Но именно этот страх перед грозными событиями, перед открытою борьбою с Россией, заставил Европу надеть и до конца сохранять эту маску. Взглянем, как происходило дело.

Смуты в Герцеговине и Боснии начались, как известно, с подстрекательства Австрии, имевших очевидную цель найти случай к исполнению обещания, данного Бисмарком своему другу Андраши, вознаградить Австрию на Востоке за потери, понесенные ею на Западе. Первым шагом к исполнению этого обещания было заключение тройственного союза, следуя издавна известному рецепту, что союз с Россией заключается всегда с прямою целью употребить ее силы для достижения планов, ей не только чуждых, но даже вредных. Дело пошло. Сербия и Черногория выступили на защиту славян. В России возбудился общий народный энтузиазм. Можно ли сомневаться, что Австрия легко могла затушить начинавший разгораться пожар, твердою угрозою Сербии, недопущением в нее русских добровольцев, наконец, военным занятием Сербии, если бы ничто другое не помогало? Можно поручиться, что войны от этого бы не произошло, и Австрии это было очень хорошо известно. Россиею были сделаны предложения относительно Боснии и Герцеговины. Ответом на них было и да и нет, из которого однако же Россия получила уверенность, что прямого противодействия со стороны Австрии не последует. Более всех побуждала Россию к войне, после неудачи конференций, Германия, которой очень желательно было исполнить данное Австрии обещание. Расчет Бисмарка был, вероятно, довольно прост, так как для целей Германии большой сложности и не требовалось: наградить Австрию с прямого согласия России, что еще более закрепило бы чрезвычайно выгодный для Германии тройственный союз   Но расчеты Андраши были сложнее и тоньше. Ему желалось присоединить богатые турецкие провинции и подчинить своему влиянию западную часть полуострова, но не желалось, по весьма понятным причинам, получить всю эту благость из рук России. Эта последняя комбинация оставлялась про запас, на всякий случай, как немогущее миновать его рук pis aller[[26]](#note26). Поэтому, полная военная неудача России не могла входить и в австрийские планы, так же как и в расчеты Германии или, точнее, Бисмарка, по другим вышеизложенным причинам. Поэтому, когда наши военные неудачи начали, по-видимому, угрожать неблагоприятным исходом кампании, дано было разрешение перейти Дунай все медлившей румынской армии и прекратилось сопротивление вмешательству Сербии в войну. В то время говорилось даже об оказании России непосредственной помощи. Все эти хитросплетения готовы были рухнуть перед необычайным зимним переходом через Балканы; но все они были восстановлены и получили даже новую жизненность и силу от незанятия нами проливов и заключения прелиминарного мира. Конференции или конгресса, мысль о которых была пущена Австрией, должны были устроить все дело сообразно ее желаниям: то есть доставить ей приобретение Боснии и Герцеговины, но не из рук России, а в виде европейской гарантии против России и Славянства. Что исполнение этого европейского поручения оказалось на деле сопряженным с трудностями и жертвами, которые были бы избегнуты при союзном действии с Россией, этого, конечно, тонкоумный Андраши не предвидел. Но в конце концов цель его, на время по крайней мере, будет достигнута.

Англия играла совершено в ту же игру. Конечно, и она могла затушить разгоравшуюся распрю, подписав Берлинский меморандум, или содействуя улаживанию мира на Константинопольских конференциях. Но ей также хотелось ловить рыбу в мутной воде, хотя и с несколько иными расчетами. Видя все возраставшую уступчивость России, она надеялась, что Россия отойдет ни с чем; а когда война грозила нам неудачным исходом, по крайней мере, первой кампании, то самая военная неудача была бы ей приятнее даже захвата Кипра и протектората над Малой Азией, ибо лучше всего обеспечивала ее индийские владения, уничтожая все обаяние русской силы на азиат. Опасность в этой игре она не предвидела, надеясь, в случае надобности, всегда успеть прийти на помощь Константинополю и проливам. Об остальном она мало заботилась. И эти расчеты чуть было не были посрамлены, подобно австрийским, тем же нежданным и негаданным зимним переходом через Балканы; но снова оправданы незанятием проливов и прелиминарным миром. На полную уступчивость России, однако, все еще не надеялись. Вознаграждением Англии должен был служить Кипр, или другая какая-либо позиция в Средиземном море. Война казалась неизбежной, и граф Дерби, основывавший свои расчеты на взвешивании политических сил, отступил перед ее риском и ответственностью. Австрия представлялась ему ненадежною опорою; на собственные силы, даже с поддержкою сипайского контингента, он также не полагался. Но, как я уже раз заметил, граф Биконсфильд руководствовался соображениями совершенно иного рода. Психологическая проницательность романиста сослужила на этот раз Англии лучшую службу, чем статистико-политические соображения государственного человека.

Таким образом, причину войны возбудили одни из наших европейских противников; другие явною и тайною поддержкою укрепили сопротивление Турции; они направляли ход войны, они же воспользовались ее плодами. От начала до конца Турция была лишь орудием их замыслов, марионеткой, двигавшейся веревочками, за которые ее дергали. Против кого же, следовательно, мы в сущности воевали?

Как же действовала Россия? Можно ли, по крайней мере, утверждать, что Россия откровенно поддалась обману, действительно верила, что воюет против Турции? Нет, этому и она не верила; но она добровольно закрыла глаза, согласилась принять личину за живое лицо, и надела на себя маску. В этой дипломатической игре действительно обманутых не было, а был, так сказать, обман по взаимному соглашению.

Русское чувство заставило Россию встрепенуться от головы до ног. Но она знала, что воевать с Турцией значило воевать с Европой, по крайней мере с Англией и Австрией; а вся ее политическая и дипломатическая традиция восставали против такого нарушения, принятых ею на себя и восемьдесят лет почти без перерыва носимых: политического европеизма, защиты европейских интересов и подчинения им русских и славянских интересов. Произошла драматическая комедия; борьба народного чувства, внутреннего, частью инстинктивного, частью сознательного понимания своего исторического назначения — с мнимым долгом, навязанным пагубным заблуждением о нашей принадлежности к европейской политической системе. Перипетии этой внутренней борьбы известны всем, следившим за ходом событий. Из этой коллизии Россия вывела себя дипломатическою фикциею. Переговоры, предшествовавшие Константинопольской конференции, сама эта конференция, в особенности же переговоры за ней последовавшие, дипломатические поездки, закончившиеся лондонским протоколом, — имели главною своею целью добиться признания этой фикции. Фикция эта состояла в том, что война против Турции есть общеевропейская мера, — экзекуция, порученная нам Европой, в роде, например, экзекуционной войны, которую вела Франция против Испании, в самый разгар реставрации. Признания этой фикции мы собственно не добились, но, тем не менее, пред войной была разослана русская нота, в которой провозглашалось, что Россия предпринимает войну для приведения в исполнение безуспешных настояний Европы. В то время и во время самой войны, эту фикцию можно было считать довольно невинною дипломатическою забавой, если угодно, даже ловким дипломатическим маневром. Но, несмотря на грубое отрицание такого европейского признания со стороны Англии, мы, к несчастью, продолжали считать ее серьезным делом; и потому, когда наши войска стали у ворот Константинополя и перед роковыми проливами, мы, придерживаясь той же фикции, решили заключить не окончательный, а только прелиминарный мир, который, как это прямо следовало из этой фикции, подлежал утверждению держав, якобы уполномочивших нас на войну. Для обеспечения нашего положения было до очевидности необходимо занять проливы; но это было бы слишком явным противоречием фикции нашей европейской миссии, ибо обеспечение это требовалось не против Турции, но против самой Европы. Фикция восторжествовала над действительностью — проливы остались незанятыми. О, тогда, конечно, Европа схватилась обеими руками за данный нами ей предлог. Со всех сторон явились объявления, что Восточный вопрос есть вопрос общеевропейский, и наша фикция получила слишком реальное осуществление в Берлинском конгрессе.

Не вправе ли, следовательно, был я утверждать в 1869 еще году, что впредь война с Турцией бесполезна и, в сущности, невозможна, и что, напротив того, возможна и необходима война с Европой? Мы закрыли себе глаза и уверили себя, что ведем войну только против Турции, что с Европой мы в мире и ладу, на деле же мы вели войну против Европы, лишь прикрываясь дипломатическою фикцией. Но, как само собой разумеется, фикция была возможна только до тех пор, пока между нами и Европой стояла турецкая фантасмагория; когда же призрак рассеялся, и настоящие враги явились лицом к лицу, нам ничего не оставалось, как взглянуть действительности прямо в глаза. Но и тут мы предпочли от нее отвернуться.

Счастливые случайности, а еще гораздо более беспримерная отвага, стойкость и выносливость наших геройских войск, доставили нам положение непреодолимое. Мы были законодателями судеб Востока, даже без борьбы с Европой, ибо борьба была невозможна с ее стороны. Мы захватили ее врасплох. Вместо того, чтобы воспользоваться своим положением, мы добровольно променяли его на такое, в котором борьба становилась уже крайне рискованною с нашей стороны.

В речи, в которой английский первый министр отдавал парламенту отчет в торжестве Англии и поражении России на Берлинском конгрессе, он, между прочим, произнес горделивые слова: «Англия сказала: стой! — и Россия остановилась». Мы не можем отрицать, что дело действительно имело такой вид, и что таков именно эффект имеют или будут иметь последние события на азиатский мир; однако же, сам надменный министр очень хорошо знает, что в сущности дело было не так. Не Англия, а ошибочная политика России, ее угодливость перед Европой — сказали стой русским успехам. Сама Россия вложила в руки Англии оружие против себя; сама устроила себе западню, захлопнула на ней крышу; сама дала окружить свои силы со всех сторон врагами: двухсоттысячною турецкою армиею, со стороны проливов и Константинополя; английским флотом с возможными на разных пунктах десантами, со стороны Эгейского, Мраморного и Черного морей; силами Австрии с тыла; несданными турецкими крепостями в середине своей позиции, — и таким образом, поставила себя в такое затруднительное положение, в котором уступка за уступкой могли считаться горькою, но благоразумною необходимостью.

Это говорим мы вовсе не в утешение оскорбленного народного самолюбия. Совершенно напротив. В наших глазах было бы гораздо утешительнее, если бы Россия действительно отступила перед английским: стой, а не по собственной угодливости перед Европой, угодливости, которая засадила ее в западню. В самом деле, что означало бы отступление России перед угрозой Англии? Что она взвесила свои силы и силы Англии и нашла борьбу неравною, невыгодною для себя. Если б этот расчет был верен, то уклонение от борьбы было бы с ее стороны благоразумием. Если бы расчет был ошибочен, то это свидетельствовало бы только о том, что силы противника были преувеличены, собственные же силы преуменьшены; свидетельствовало бы о нашей нерешительности, трусливой осторожности, пожалуй, о нашем малодушии. Но эта нерешительность, излишняя осторожность, малодушие — были бы лишь явлениями временными, случайными, примеры которых повторялись не раз в истории разных государств. Но ложная политика угодливости перед Европой, жертвование ей своими интересами, принятие этих интересов за что-то высшее, требующее большого внимания и уважения, чем наши собственные русские интересы; политика, которая обратилась в систему, в традицию, в неискоренимый предрассудок, вот уже восемьдесят лет парализующий успешное развитие нашей внешней исторической деятельности, — такое явление несравненно опаснее, несравненно оскорбительнее, чем неверный политический расчет, подавший повод к временному, случайному малодушию. Такая политическая система свидетельствует не о сомнении в силах и средствах, имеющихся в данную минуту для достижения предположенной цели, не об ошибочной оценке нашего положения в настоящий момент, а о сомнении в смысле, цели, значении самого исторического бытия России, которые, как нечто несущественное, сравнительно маловажное, второстепенное, должны уступить место более существенному, более важному, первостепенному. С такими сомнениями в сердце исторически жить невозможно!

Упрек в таком сомнении падает уже не на ту или другую, более или менее влиятельную личность, а на извращение общего народного сознания, по крайней мере тех классов народа,  которые называются его интеллигенцию и призваны жить сознательною историческою жизнью. Где границы уступчивости, в основании которой лежит такое сомнение? Поставим себя на место государственного человека, заправляющего судьбою любого иностранного государства. Чего не сочтет он себя в праве и в возможности требовать от России, если облечет свое требование в одежду общеевропейского интереса, что ведь так нетрудно сделать? Стоит лишь наболтать всякого вздора, в который и сам не веришь, в роде сказанного на конгрессе графом Андраши против смежности границ Сербии и Черногории; или в роде слов Салисбюри о сплошном ряде славянских государств; слов Биконсфильда о непререкаемости прав султана на Балканские проходы; или слов самого Бисмарка в германском рейхстаге, что только денежные расчеты с Турцией подлежат взаимному соглашению воевавших держав, территориальные же требуют санкции Европы. Но, если бы со стороны России даже последовало сопротивление подчинить свои интересы чужим, то самая война против нее перестает внушать опасение и страх, ибо сама победа в руках ее лишилась, присущей победе, силы и действительности. В крайнем случае, побежденному, на голову разбитому противнику стоит лишь апеллировать к европейскому конгрессу; а такую, ничего не стоящую помощь более или менее красноречивыми речами, за красным подковообразным столом, готов оказать всякий, который задумался бы перед оказанием помощи, стоящей больших жертв.

Кому не случалось слышать рассказов о полуночных привидениях, сквозь которые безвредно пролетают пистолетные пули? Как бы таким привидением — только наоборот — является Россия. Не сквозь нее безвредно пролетают вражеские пули, а размах ее руки становится бессильным; при ударе ее меча рассекающем противника, половинки его срастаются, вся грозная сила ее войска обращается в какой-то фантом, ибо самые тяжелые удары, им наносимые, не только исцеляются ее же политикой и дипломатией, но, каким-то непонятным фокусом, отражаются на ней и заставляют истекать кровью ее собственное тело.

И так, не из страха перед Англией — в сущности, даже не но ошибке, ответственность за которую должна бы падать на то или другое лицо, потеряли мы плоды наших побед, а по гибельному политическому предрассудку, тяготеющему над нами уже восемьдесят лет; предрассудку, которым проникнуто не только большинство наших дипломатических деятелей, но которым заражено большинство нашего общества, — вся та доля русского народа, которая носит название русской интеллигенции и которая составляет ту среду, из которой выходят и наши дипломаты, и прочие наши государственные и общественные деятели, которым, следовательно, неоткуда набраться иных политических принципов, негде проникнуться иными идеями. Не только немногие голоса, от времени до времени раздававшиеся против наших политических и национальных заблуждений, но даже и сам громкий и грозный голос таких событий, как Крымская война, были гласом вопиющего в пустыне.

У нас вошло в обычай прославлять благодетельные результаты, проистекшие, будто бы, из неудач Крымской войны, приписывая их влиянию реформы последнего двадцатилетия, в том числе даже и самое освобождение крестьян. Мы всегда считали взгляд этот неверным, и убеждены, что, каков бы ни был исход Крымской войны, либеральные реформы непременно последовали бы в наступившее тогда новое царствование. Защищать это воззрение здесь не у места, и мы упомянули о влиянии Крымской войны на внутреннюю жизнь России, единственно, чтобы указать, что опыт ее в тех сферах, к которым он ближе всего относится, оказался малодействительным. Интендантская часть осталась столь же неудовлетворительною, как и тогда, политические воззрения на наши отношения к Европе также не изменились.

Мы надеялись: «что сами события (имеющего вновь выступить на историческую сцену Восточного вопроса) заставят отбросить, хотя бы по неволе, те уважения, которые налагаются усвоенными привычками и преданиями, к существующим, освященным временем, интересам, даже незаконным и враждебным»; но должны сознаться, что горько в этом ошиблись. Уважения, основанные на привычках и преданиях, оказались сильнее самих событий. Проистекшие из этого — глубокое разочарование и горечь неудачи, вместо сладости и торжества победы, которые мы уже готовы были вкусить, — произведут ли лучшее действие? Если бы лекарство оказалось действительным, мы благословили бы испитую нами чашу; но надеяться на это не смеем.

Хотя сила событий раз уже обманула наши ожидания, мы все продолжаем возлагать на них преимущественно наши надежды. В только-что выписанном нами месте, излагающем неисполнившиеся наши надежды на целебную силу событий, — одно обстоятельство, считавшееся нами условием успеха и выраженное словами: «хотя бы то было по неволе», не осуществилось. Мы имели, к несчастью, свободу выбора и предпочли претившей нам действительности фикцию дружелюбного общего действия рука об руку с Европой. В будущем, начинающем восходить на исторический горизонт, этого выбора, кажется, уже не будет.

В ряду следовавших друг за другом, после 19-го января, печальных известий, единственно отрадным было для нас провозглашение Англией протектората над Малою Азией и захват Кипра. Не в возбуждении захватом Кипра негодования и опасностей за будущее в государствах, прилежащих к Средиземному морю, видим мы зарю лучшего будущего. Мы так убеждены в коренной враждебности европейских государств к России, что, если бы, вместо Кипра, Англия захватила Сардинию и Корсику, то и этим не понудила бы Францию и Италию к искреннему союзу с Россией, к такому, который не только им помог бы обделать свои дела, но содействовал бы и России в достижении ее справедливых и законных целей. Предрассудок окажется сильнее самих нарушенных интересов. Во главе этих государств нет честолюбивого, властолюбивого, алчного Наполеона, и священные интересы Европы, то есть интересы вражды и ненависти к России и Славянству, будут по прежнему стоят выше всего.

Нас радует и утешает совершенно другое: то, что наконец настоящие враги стали друг против друга. Безумный, по выражению Гладстона, поступок Англии заключает в себе прямое и дерзкое оскорбление России, на которое первый министр ее мог решиться только в полноте гордыни своего торжества. На все наши, перешедшие всякую меру, уступки и жертвы материальные и нравственные, он ответил грубым недоверием, на которое даже не счел нужным испросить санкции конгресса. После этого, конечно, и мы, не нарушая постановлений конгресса, были бы в праве сказать: «Если полюбовное соглашение, так полюбовное, т.е. такое, которое не может существовать без взаимного доверия и уважения; если же система оскорбительного недоверия, предосторожностей и камня за пазухой, то она может быть только обоюдною. Англия не верит нам; она опасается за безопасность своих путей в Индию, даже самых окольных; опасается наших честолюбивых поползновений на азиатские владения Турции; и мы, с гораздо большим основанием, также опасаемся за наше черноморское прибрежье и за наши закавказские владения. Мы получили Каре, Ардаган, Батум, как самое ничтожное вознаграждение за жертвы, принесенные для обуздания турецких злодейств; Англия же присвоила себе Кипр даром, без всяких жертв, единственно в исполнение своих честолюбивых видов и в видах нанесения нам оскорбления, как точку опоры для наблюдения за нами, для противодействия нашему предполагаемому, хотя весьма нашими действиями опровергаемому, честолюбию. У Англии есть могущественный флот, — у нас его нет на Черном море. Она может стремиться лишить нас наших закавказских владений, может, в имеющем подлежать ее влиянию армянском населении Малой Азии, устроить очаг интриг (ведь опасается же она наших интриг в Афганистане) для распространения смут между нашими армянами. Против всего этого мы остаемся безоружными».

«Чтобы оградить себя от враждебного влияния Англии в Константинополе, которое, каждую минуту, может открыть ей ворота в Черное море; чтобы предупредить замыслы, которые она может иметь против нашего Закавказья, мы должны были бы заявить, что мы оставляем за собою проходы через Балканы, чтобы и с своей стороны иметь средства влиять на Турцию, что мы не возвращаем Баязета и Алашкертской долины; что мы остаемся в Эрзеруме, чтобы, в случае нужды, пресечь ту железнодорожную линию, которая должна идти вдоль долины Евфрата; что мы укрепим Батум. Англия объявила, что будет владеть Кипром до тех пор, покуда мы оставляем за собою то, что ей угодно называть нашими завоеваниями в Малой Азии; мы должны были бы объявить, что сохраним Балканские проходы, Баязет с Алашкертской долиной, Эрзерум и батумские укрепления, до тех пор, пока Англия не возвратит Кипра и не откажется от своей системы недоверия и оскорбительной подозрительности, выразившейся в присвоении ею протектората над Малою Азией. Если она истинный друг Турции — пусть докажет ей свою дружбу возвращением не только захваченного ею острова, но и всего того, что мы хотим оставить за собою сверх условленного по Берлинскому трактату, единственно в видах предосторожности против интриг и честолюбивых замыслов Англии».

Хотя такие слова произнесены не были, но самый ход событий легко может заставить нас говорить именно этим языком; во всяком случае, теперь или после, а дело поставлено так, что борьба между Англией и Россией сделалась неизбежною. Уклониться от нее стало уже невозможным. Англия дерзко вызывает нас на бой, прямо и открыто, без всякой маски, без чьего-либо посредства. Принятие этого вызова есть только вопрос времени, и таким образом, Восточный вопрос примет свой настоящий вид: борьбы России и Славянства сначала против главного врага их — Англии. Весьма благоприятным началом ее будет, если она возникнет из непосредственной ссоры с Англией из-за азиатских дел. Этот окольный путь всего лучше приведет нас к нашим целям: к полному освобождению и объединению Славян и к приобретению проливов в наше полное распоряжение.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

[[1]](#text1) Бренн - вождь галльского племени сенонов в 387 году до Р.Х. захвативший Рим. Полгода занимал город, осаждая остатки его защитников, укрывшихся на Капитолии. Покинул Рим, получив огромный выкуп.

[[2]](#text2) Сан-Стефанский мирный договор был подписан 3 марта 1878 года в местечке Сан-Стефано вблизи Стамбула. Завершил русско-турецкую войну. По этому договору славянские и греческие подданные султана получали большие права самоуправления, а Болгария превращалась в номинально зависящее от султана княжество с территорией от Черного до Эгейского моря. На Берлинском конгрессе по настоянию западных держав, прежде всего Австрии и Англии, был заключен куда более стеснительный для славян договор. В частности, территория южной Болгарии возвращалась под власть Турции.

[[3]](#text3) Более русские, чем сами русские.

[[4]](#text4) Дерби Эдуард Генри Смит Стенли (1826-1873) граф, английский политический и государственный деятель. Противодействовал антирусской политике Дизраэли.

[[5]](#text5) Дизраэли Бенджамен (1804-1881) граф Биконсфилд, виконт Гугенден. Английский государственный и политический деятель, лидер консерваторов, противник России. В свое время был известным беллетристом, опубликовал несколько романов.

[[6]](#text6) «Санкт-Петербургский журнал» издавался в С.-Петербурге на французском языке и считался официальным правительственным изданием.

[[7]](#text7) Законность нас убивает.

[[8]](#text8) Вход английской эскадры в Мраморное море во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

[[9]](#text9) Блаженны имеющие.

[[10]](#text10) Единая Родина.

[[11]](#text11) Абердин Джорж Гамильтон Гордон (1784-1860) граф. Английский государственный и политический деятель. Будучи премьер министром в 1852-1855 годах, занимал умеренную позицию в отношениях с Россией.

[[12]](#text12) Кобден Ричард (1804-1865) английский экономист и политический деятель. Сторонник свободной торговли.

[[13]](#text13) Итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова и экспедиция Ф. Ф. Ушакова на Средиземное море.

[[14]](#text14) "Декларация о вооруженном нейтралитете". Провозглашена Екатериной II в 1780 году. Была направлена против британской гегемонии на море. В ней провозглашалось право судов нейтральных стран на вооруженное сопротивление в нейтральных водах при попытках их досмотра. К декларации присоединилось большинство европейских государств.

[[15]](#text15) Кипр был занят англичанами в результате заключения англо-турецкого соглашения, направленного против России. Формальное подчинение Кипра английской короне произошло после начала 1-й мировой войны.

[[16]](#text16) Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) граф. Российский государственный деятель, либерал, сторонник русско-французского сближения. В 1812-1816 годах в ссылке. Румянцев Николай Петрович (1754-1826) граф. Старший сын знаменитого полководца. В 1807 году министр иностранных дел, в 1809 канцлер. Сторонник русско-французского сближения. Известен как создатель Румянцевского музея (ныне РГБ).

[[17]](#text17) Милош Обренович (Милош Теодорович) (1780-1860) сербский князь (1815-1839 и с 1858), основатель династии Обреновичей.

[[18]](#text18) Поход русской армии в Венгрию 1849 года. Русские войска разгромили венгерских повстанцев и восстановили в стране власть Габсбургов.

[[19]](#text19) Игнатьев Николай Павлович (1832-1908) граф. Генерал от инфантерии, дипломат и государственный деятель, посол в Константинополе (1864-1877). Был близок к славянофилам.

[[20]](#text20) Сиейс Эммануэль Жозеф (1748-1836) французский политический деятель. Как депутат конвента в 1793 году голосовал за казнь короля. Во время якобинского террора не принимал активного участия в политике и смог избежать гильотины. В дальнейшем близкий сотрудник Наполеона, от которого получил графский титул.

[[21]](#text21) Выжил.

[[22]](#text22) Семилетняя война 1756-1763 г. велась коалицией Австрии, Франции, России, Испании, Швеции и Саксонии против Пруссии, Англии и Португалии. Смерть Елизаветы Петровны и вступление на российский престол Петра III привели к выходу России из войны в 1761 году.

[[23]](#text23) Куза Александр Иоанн (1820-1873) господарь объединенных княжеств Молдавии и Валахии. Франкофил.

[[24]](#text24) Солюсбери (Солсбери) Роберт Артур ТелботГаскойн-Сесиль (1830-1903) маркиз. Английский государственный деятель, дипломат. Активный участник Берлинского конгресса. После смерти Дизраэли лидер консерваторов. В 1902 году заключил союз с Японией, направленный против России.

[[25]](#text25) Речь идет о Японии, в которой после революции Мейдзи (60-е годы XIX в.) начался процесс европеизации.

[[26]](#text26) Крайнее средство.

[[\*1]](#text_1) В «Русской Речи» статья эта была озаглавлена «Россия и Восточный вопрос» и все начало, до новой строчки. <В прошлом году>.., было опушено.

[[\*2]](#text_2) Могло бы казаться, что с нашей стороны сделана большая ошибка тем, что мы не побудили Грецию объявить войну Турции, хотя бы одновременно с Сербами, после пленения Плевненской армии, дабы дать нам этим предлог выговорить при заключении мира присоединение к ней Фессалии, Эпира и Крита. Но такой упрек едва ли бы был справедлив. Такое присоединение только увеличило бы притязания Греции. Греки со своею «великою идеею» и эллинизмом принадлежат к числу тех маленьких честолюбивых народов, с которыми, по странному велению судьбы, все приходится иметь дело России; подобно Полякам и Мадьярам, они добиваются не свободы и своего права, а власти над другими народами, более их многочисленными, которых они почему-то считают ниже себя, чтобы питаться их соками и основать на их угнетении свое искусственное величие. Я уже сравнивал их с лягушкою басни, надувающегося в быка. Россия не может быть другом таких народов. <Чернов. рукоп.>

[[\*3]](#text_3) Из заявления 27 Июля

[[\*4]](#text_4) Как свидетельствует наставление, прочитанное одним журналом г Иловайскому, попавшему в цивилизаторские руки этого жандарма. <Черн.рукоп.>

[[\*5]](#text_5) Выходя из круга тех вопросов, для решения которых была предпринята последняя война я собирался Берлинский конгресс, мы встретим ту же противоположность правды и лжи, свободы и угнетения, проследить отдельные случаи которых было бы слишком долго — Но там, где Россия по ошибке и неправильному пониманию своего интереса, отклонилась от своей цели и вместе с тем (сознаемся в этом откровенно) и от справедливости, то там Европа охотно ей уступает! Когда Россия требует возвращения ни на что ей не нужного клочка Бессарабии и взамен его предает румынизации болгарскую Добруджу и тем оскорбляет и своего недавнего союзника и освобожденную ею Болгарию, — тут Европа ей не противоречит, ибо видит, что, поступая так, Россия вредит себе. <Черн. рукоп.>